

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

Главный редактор:  
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)  
А. Г. Байбородин (Иркутск)  
Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)  
Т. Г. Четверикова (Омск)  
Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)  
А. В. Кирилин (Барнаул)  
Э. И. Русаков (Красноярск)  
А. Б. Шалин (Новосибирск)  
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)  
Н. М. Закусина (Новосибирск)  
Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)  
А. Ф. Косенков (Новосибирск)  
В. С. Никифоров (Новосибирск)

Владимир Титов  
ответственный секретарь

Максим Долгов  
и. о. начальника отдела художественной литературы

Марина Акимова  
редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев  
начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов  
редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова  
Корректурa: М. Н. Долгов

11/2016

## Содержание

### ПРОЗА

**Геннадий ПРАШКЕВИЧ. Русский хор.** Повесть. ....3

**Николай ОЛЬКОВ. Солнечный человек.**

*Сказ об Иване Ермакове.* Повесть. ....39

### ПОЭЗИЯ

**Любовь КОЛЕСНИК. Грозы за пределом.** Стихи. ....37

**Александр ГУТОВ. Культурный слой.** Стихи. ....84

**Дмитрий МУРЗИН. Топору топоры топором.** Стихи. ....88

*«И появится сад...»* Ольга ПОЛЯНИНА, Юлия КРЫЛОВА,

Светлана ПЛАТИЦИНА, Сергей ФИЛИППОВ. Стихи. ....91

### ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

**Всеволод ИВАНОВ. Проспект Ильича.** Роман. Продолжение. ....95

### НОВОСИБИРСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — 90 ЛЕТ

**Выбор на всю жизнь.** Новосибирские писатели о себе. .... 155

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

**Семён ВЕНЦИМЕРОВ. Голос, звучащий в эфире.** .... 164

**Игорь МИНОВ. Андрей Крячков, сибирский зодчий.** .... 178

### Картинная галерея «Сибирских огней»

**Светлана ГОЛИКОВА. Линогравюры Константина Баранова.** ..... 189

*Авторы номера* ..... 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Щукин.

Геннадий ПРАШКЕВИЧ

## РУССКИЙ ХОР

Повесть

### Часть первая (auftakt)

#### 1.

Деревня Зубовка занимала тихое место в дальнем уголке не самой знатной русской губернии. Несколько десятков изб, ближняя церковка — в пятидесяти верстах. Совсем не то что зеленое поместье Томилино тетенки Марьи Никитишны, понятно, из Зубовых. У нее в отличие от Степана Михайловича Зубова, племянника, было более полутора тысяча крепостных душ, а еще угодя и деревеньки, даже спорные, например Нижние Пердуны, где запачканные и отошальные свиньи и коровы сами по себе бродили по плохим выгонам. Про Верхние Пердуны никто не слышал, но Нижние стояли вдоль оврага издавна. Совсем тихая деревенька. Кто-нибудь едет мимо — непременно ограбит. Даже Тришка, дурачок деревенский, туда не ходил со своими глупыми баснями. Конечно, ссоры вокруг спорных деревенок сами по себе закончиться не могли, но тетенку это не томило. Она жила строго, верила в провидение и старалась утешить Дарью Дмитриевну, жену племянника: «Ты терпи, умру — все одно вам достанется. Стёпке (так называла племянника) и тебе». Так что Дарья Дмитриевна терпела, таила в душе мечту: вернуться в Москву, давным-давно обжитую родственниками, не очень, кстати, любившими ее мужа. Он старому московскому укладу казался чисто козлом — бритым, скачущим вблизи такого же нетерпеливого государя. Таких, как Степан Михайлович, московские родственники Дарьи Дмитриевны боялись, брак не одобряли, перешептывались: вот села девка в краю кикимор и водяных. Правда, Дарье Дмитриевне тосковать времени не было, скоро дитя появится — учить надо. Такие пошли времена, что надобно учить даже малых. А иначе правда, как? Не Тришкой же дурачком расти.

Так и Степан Михайлович говорил, когда изредка появлялся в Зубовке.



Цыкал на дворню, корил крестьян, пускал дым из короткой трубки. Бритый, живой, ну чисто козел, но Дарье Дмитриевне — защита. Тоже ей говорил: «Терпи. Жизнь перевернулась, скоро будет иначе».

А как иначе — не говорил.

В прежние годы круг времен в Зубовке да и в Томилине определялся простым уходом за птицей и домашней скотиной, также уходом за барскими полями, огородами. То утро, то вечер, то весна на выселках, то осень с клиньями уходящих за Нижние Пердуны гусей. Так говорили, что где-то за Нижними Пердунами — юг, черные люди, туда и стремятся птицы.

Дарья Дмитриевна сильно скучала мыслью, что в такую глушь, как Зубовка, никакого ученого человека не заманишь, а ведь кто лучше знает, как спрягаются латинские глаголы или звучит немецкая речь? Малому дитю в будущем все понадобится — так Степан Михайлович сказал. Все новое теперь нужно. Это только на вид ничего вокруг не меняется: речка течет по-местному Кукуман, а в обороте все равно Зубовка, озеро Нижнее полнится рыбой. Говорят, когда-то существовало и Верхнее, но сейчас на его месте только низкие луга да мелкие болотца.

И всегда мечта в сердце: вернуться в Москву, в радость.

Появление дитя (назвали Алексеем, как еще назовешь человека божьего?) заново подняло эти мысли. Дарья Дмитриевна ожидала с большим нетерпением, что вот-вот Степан Михайлович совсем вернется. Ходили слухи, что после замирения с Данией, Швецией и Саксонией жалованы русским победителям большие вотчины, да титулы, да ордена, даже золотые портреты государя с алмазами, а младшим чинам серебряные медали и деньги. Может, и Степану Михайловичу что досталось. В любом случае к первому января какого-то вдруг ставшего непонятным, озвученного как одна тысяча семисотый от Рождества Христова, года обещал вернуться. Побывав у любимой тетеньки Марьи Никитишны, Дарья Дмитриевна получила тоже не совсем ясные разъяснения, почему в России с первого января вводится новое летоисчисление. Ну просто: так государь указал. Теперь отсчет годов будет идти не от сотворения мира, как издавна привыкли, а от Рождества Христова и не с первого сентября, а с первого января. Правда, почему так понадобилось, этого и тетенька объяснить не могла, но Дарью Дмитриевну обладала: «Ты, душенька, больше о сыне думай». И присоветовала: «С первого января прикажи весело украшать еловыми ветками весь дом, зажигай у ворот костры или смоляные бочки, а самых косматых людей из дворни заставь стричь бороды. Плакать будут — все равно заставь. А то наедут казенные люди, сами снимут с людей бороды, а на тебя штраф наложат. Знаешь, что за ношение бород нынче следует от тридцати до ста рублей штрафа? Где наберешь столько? То-то же. А еще в Москве венгерские да немецкие кафтаны приказаны, а дамы наряжаются во все немецкое — роброны да фижмы. Ты и к этому, Дарья, прислушивайся».

## 2.

К возвращению Степана Михайловича поставили новый дом.

Стены из толстых бревен, запах живого дерева, янтарные смоляные сосульки, сухой мох. За зелеными огородами красиво торчали ветки белой и красной смородины, черной еще больше. На грядках — толстые огурцы, веселый горох цветочками, уверенные бобы и редька там, морковка, укроп как зонтики. Ну, а дальше яблони и рябины. Дарья Дмитриевна, совсем тяжелая, любила смотреть в окно на все это изобилие.

А в августе 1699 года (для уверенности считали уже по новому летоисчислению) пришла в Зубовку некая баба. Во всем черном, один глаз косит, будто чего постоянно опасается. Волосы причесаны неаккуратно, прячет под платок. Оглядываясь, кладя крестное знамение, прошла через всю Зубовку, устроилась на краю в пустом анбаре и пророчествовала. Вот ловить рыбу во сне — нехорошо. А видеть навоз — наоборот, к богатству. Не езжай во сне на телеге, не гони как сумасшедший, куда торопиться? Видеть такой сон — к смерти. И еще о всяком пророчествовала, упоминала такие сны, что лучше и не рассказывать — сошлют в кухню на дальние луга козцов кормить. Особенно на телеге не ездят во сне, повторяла баба, кося одним глазом, коль увидел такое, спрыгни с телеги, понимать должен, куда приедешь. Голос у бабы безжалостный, как у комара. Порядка нигде нет, пророчествовала, вот и не будет больше мировой гармонии. А услышав о рождении у владельцев поместья Зубовых малого дитя раба божьего по имени Алексей, прямо указала:

«Не жилец он».

«Да как же так?»

«А год-то какой!»

«Да какой же такой год?»

«Девяносто девятый, не просто».

«Да что такого, глупая, в году таком?»

«Да то, что совсем новый век наворачивается».

«А дитя малое тут при чем? Мало ли что наворачивается».

«А то сами не знаете. Шлепали, шлепали дитя малое, а оно совсем не сразу вскрикнуло. Молчало и молчало, будто к чему прислушивалось. А когда вскрикнуло, опять замолчало. Если и вырастет, никакой радости».

«Да почему, почему?»

«Немцам его продадут».

«Ты что говоришь? Каким немцам?»

«Сейчас многих роят молодых отсылают за море. Подрастет барич, его тоже отошлют. А там немцы учат разному».

«Да чему же такому разному немцы учат?»

Мало ли. Баба все одно повторяла: не жилец он.





Конечно, такие дерзкие слова скоро дошли до барыни.

По строгому приказу Дарьи Дмитриевны пришлую бабу жестоко отодрали кнутом в том же пустом анбаре, где она высказывала свои пророчества. После этого дверь замкнули, бабу выкинули за поскотину, а маленький Алёша стал жить. Весь вышел в отца: щечки длинные, лобик выпуклый, но молчун молчуном, будто правда к чему-то прислушивается.

Так и рос, пока Зубов-старший служил государю далеко от дома.

Из редких писем Алёшиного отца барыня, а значит, и близкие девки знали, что утверждается нынче государь на Азовском и Черном морях. Далеко, совсем далеко, а говорят, нужно. Только зачем? Ведь раньше мы без морей жили, ворчала ключница Евдокия, муж которой был забран Зубовым-старшим с собой на дальний юг, куда-то за Нижние Пердуны, укреплять границы растущего государства. Речка у нас есть, озеро имеется. Раньше было два, но нам и одного хватает. Рыбы столько, что вода рябит от толстых спин, когда играют на закате. Зачем нам моря? И еще ворчала о том, что, возможно, слышала от барыни, а возможно, придумывала сама, перевирая имена и события. Барин-то вернется, ворчала, а вот Евграфыча (так мужа звала) обязательно убьют. Неверные убьют. У нее сердце чувствует. Евграфыч ее сейчас в степях перед большим мусульманским войском. Его ни барин, ни государь не спасут, Бог один спасет, но у Бога сами знаете дел сколько, где уж какого-то Евграфыча из дальней Зубовки помнить? Сегодня Евграфыч у одного моря, завтра у другого. А то даже ходил в сторону Европы с посольством, которое прозвали Великим, а возглавлял его урядник Преображенского полка Пётр Михайлов. Что там Евграфыч делал у немцев, подумать страшно, барыня за виски хваталась, читая письма мужа. Похоже, сам Степан Михайлович немного немцем стал. Писал Дарье Дмитриевне, что знакомится с кораблестроением, с фортификацией, с литейным делом. Слова звучали как ледяной град в жаркий полдень. С тем урядником Преображенского полка побывал Зубов-старший и на судовых верфях, и в арсеналах, и в мануфактурах, посещал даже парламенты, музеи, феатры (тьфу, тьфу, тьфу), даже монетные дворы.

А лучше бы дома жил.

Крестьяне совсем разбаловались.

### 3.

Алёшенька рос.

Зубики вперед выдавались.

Волосики льняные, голос гибкий.

Молчал, ко всему прислушивался, птичка ли свистнет, корова ли замычит.

Лето в теплых дождях. Зима в медленных снегах. Весной на ледяных дорогах вытаивали желтые пятна. Летом идешь к озеру по выгону, лошадь мотает головой — здороваается. Собака встретится, тоже криво

улыбнется, себе на уме. Мир тихий. А где-то война, где-то барин Зубов-старший с Евграфычем шумят у дальних морей при уряднике Преображенского полка Петре Михайлове.

Ожидая мужа, барыня Дарья Дмитриевна много занималась Алёшей.

Он с трех лет (как того в письмах требовал отец) рисовал на бумаге палочки, соединял их, от того получались буквы. Аз, буки, веди, добро, глаголь и все такое, что дальше. Горбатая Аннушка одевала Алёшу. Ипатич, дядька, с самых малых лет приставленный, следил, чтобы мальчик не попал на рога быку или не прыгнул в воду. Дядька верный, рябой, как дрозд. Всегда ждал лета. Считал лето лучшей порой жизни. Да и как иначе? Можно посидеть на берегу озера, повыдергивать из воды глупых рыб, которые идут на обычного червяка, хотя какой в нем вкус? Можно побродить по лесу, заглянуть на дальние поляны, в пять лет Алёшеньке разрешали с Ипатичем ходить в лес. Там Ипатич, обрывая какую невзрачную травку, непременно рассказывал, как ею можно зуб лечить или снимать запор или как выглядят петушковые пальцы и девятисил-корень, и очень-очень хвалил зверобой, который даже самое крепкое белое виноцо делает на многое годным, особенно для удовольствия.

Еще Ипатич учил: наипаче всего должно Алёше отца и мать в великой чести держать. Что с того, что маменька только дома? Увидишь ее — не кричи как телок, рук в радости не воздевай, прежде маменьки за стол не садись, при ней в окно не выглядывай, мало ли какое животное чешется у изгороди, все совершай с почтением, от имени маменькиного не повелевай, мал еще. Будешь верно вести себя с людишками — они сами поймут, что кому делать.

Одно время Алёша ловил и срисовывал в особую тетрадку бабочек.

С ними странно. Любая живая тварь голос подает, а бабочки шуршат.

Алёша внимательным образом прислушивался к миру. Все такое разное. Вот Ипатич подаст голос — перекроет шум кухни, вот девки завизжат, а какая запоет. О чем — неважно. Просто все становится другим, когда книгу маменькину листаешь. Вот буквы и буквы, и бог с ними, а вот кошка нарисована или куличок. Куличок замызганный, из болота вылез, может, больной. Жалел куличка: «Ипатич, убей!»

Ипатич отзывался с лавки: «А ты сам его».

«Да как я сам? Мне, Ипатич, боязно».

«Тогда и не проси».

Зимой сидел у печи, прижимался к синим изразцам и слушал, как на улице потрескивает, пощелкивает мороз, может, зайцев гоняет, рассматривал промерзшие стекла, богато разрисованные инеем. На иных стеклах будто звезды вытканы, такое никак не нарисуешь. И звезды не молчат, а все время будто тянут звуки. Он даже слово такое знал — мусикия. Увидел его в книге «Наука всяя мусикии». Маменька Дарья Дмитриевна



говорила: ты эту книгу не листай, ты не поймешь, милый, это для певцов в хоре. А он уже и о певцах знал: они широко рты разевают, больше, правда, девки. Вот много немца пригласим, он расскажет, обещала маменька, прижимая Алёшу к груди. Немец разом всю мусикийскую науку объяснит.

Дом Зубовых простой, окружен тихими липами.

Птицы ничему не мешают, коровы близко не подходили.

Коровы только вдали у мужичьих дворов мычали низко, влажно, как бабы, а вечерами под звездами среди елей так тихо становилось, что маменька почему-то негромко плакала, скрывая от Алёши слезы. Но он видел. Он многое тогда видел и запоминал. Не хотел, выросши, Тришкой быть. Это правильно отодрали бабу, пророчившую ему близкий конец. Выжив, жадно всматривался в коловорот жизни, и все для него, даже ход облаков, звучало слитно, красиво. Иногда в звучание вплетались какие-то слова. «При долине куст калиновый стоял...» Это местные девки пели. «На калине соловеюшка сидел...» Сама музыка, мусикия, вторая философия и грамматика, как матушка утверждала, осыпалась с неба как грибной дождь. «Горьку ягоду невесело клевал...» В дальних полях Ипатич показывал Алёше каменных болванов, бог знает как попавших сюда, кем построенных. У них черты были вырублены грубо, но выразительно. Ипатич тоже такой был — грубый и выразительный.

Казалось, конца не будет такому медленному следованию времени.

#### 4.

Потом приехал папенька.

Алёша сразу запомнил запах кожи.

И запах сапог запомнил, и усы колкие.

На дорогах в тот год баловали варнаки, раскольники гадили.

В одной деревеньке, рассказывали, с пением заняли те раскольники местную церковку, избили, изгнали попов, стали умывать иконы, стены, крыши, кресты для своей надобности. Никакой, кричали, больше латинской ереси не будет в сладостном русском пении. Конечно, человек пять верхами с папенькой во главе поскакали в ту деревеньку, но по дороге попали в толпу совсем простых дорожных варнаков с цепами и косами, эти совсем другого хотели, им латинская ересь не мешала. У Степана Михайловича отняли жизнь, поскольку ничего другого при нем не оказалось.

Дарья Дмитриевна от пережитого занемогла.

Это что же такое? — спрашивала приехавшего батюшку.

Батюшка пытался ответить. Ныне, мол, в церквах поют партесное пение презельными возгласами и усугублении речей, многожды бо едину речь поют. И многие, мол, напевы от себя издают вново. А про варнаков молчал, то ли боялся. Звон от всего этого еще сильней стоял в ушах Алёши — как мусикия, как коростель на болоте. Ничего не поймешь,





такое время темное, страшное. Вот Степан Михайлович до южных морей ходил, а успокоение обрел в Зубовке. Как понимать такое?

Маменька ненадолго пережила мужа.

После смерти ея Алёшу забрала тетенька в Томилино.

Все в тетенькином доме было незнакомо. Она и на Алёшу строжилась.

У родителей речей перебивать не надлежало, он это уже знал, но у тетеньки заварено было гуще. Глупости держи про себя, на стол, на скамью или на что иное не опирайся, не уподобляйся простым мужикам. Жалко было тетеньке Дарью Дмитриевну, а вот на убиенного племянника, на Степана Михайловича, непонятно сердилась, дескать, слишком скор был на решения. Вот чего так сразу помчался на раскольников? Зачем с собою людей повел? Ну, сожгли бы раскольники одну церковку, грех, грех, и только. Господь за всем призирает. Наслал раскольников, может, тоже считал такое необходимым. Даже с собственными мужиками ныне иные качества следует воспитывать — хитрость и понятливость, иначе все пожгут, растащат. Конечно, хмурых солдат из губернии, прибывших на поиски варнаков, тетенька содержала, но и с ними строжилась, а от губернатора словами и подарками добилась, чтобы пойманных варнаков, погубивших Степана Михайловича, повесили прямо на глазах ее людшек, чтобы помнили. Несколько в стороне от господских построек собрали крестьян из Зубовки и Томилина. К несчастью, двое из пятерых варнаков умерли ночью от ран в анбаре, за это их первыми и вздернули. А уже потом поучительно для собравшихся остальных вешали.

## 5.

Остался Алёша при тетеньке.

Дичился людей, пристрастился к чтению.

Тетенька носила платье смирного темного цвета, в послеобеденное время обязательно садилась вязать тонкий со стрелками чулок, а Алёшеньку просила читать из книг, хранившихся в кабинете покойного мужа. «Юрнал» не бери, указывала. Считала, что «Юрнал или поденная роспись осады Нотебурха» не для чтения в такие часы — под вязание. Иногда разрешала взять «Ведомости» — куранты, изредка привозимые из Москвы. На большом грубой бумаги листе так и значилось: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах». Твой отец, Алёша, трудился на благо нашего государя, указывала тетенька строго. Чувствовалось, никак простить не может Степану Михайловичу, что умер. Поясняла, что куранты «Ведомости» производят при участии государя. С уважением поглядывала на заглавную страницу, там подробно изображался Меркурий — покровитель торговли и всех известий.

«Ну, читай, Алёша, покажи знания».



«Его Царское Величество... — с некоторыми запинками читал Алёша, — усмотреть изволили... что у каторжных невольников... которые присланы в вечную работу... ноздри вынуты малознато... — Хотел спросить, как это так — ноздри вынуты, да еще малознато, но дальше все само становилось понятно. — Того ради Его Царское Величество указал... вынимать ноздри до кости... дабы, когда случится таким каторжным бежать, везде утаиться было не можно...»

Будто грозная музыка начинала играть.

Она для Алёши в тот долгий год часто играла.

И самым чудесным местом для этого была главная зала.

Впервые в нее войдя, Алёша оцепенел. На высоких стенах, покрашенных в светло-серое, как бы даже серебристое, увидел начертанные умело зубцы, узоры, даже печальный единорог стоял в простенке между высоких стрельчатых окон — с тяжелым рогом, трагический. Такое теперь время, непонятно посетовала тетенька, что вбежит такой вот чистый зверь в деревню, спасаясь от охотников, а спасти его некому.

Ну и бог с ним, с единорогом, Алёшу картины сильно изумляли.

Эти картины, многие в золотых рамах, привезли когда-то из Москвы, точнее, собрал их давно покойный муж тетеньки Фёдор Никитич. Алёша особенно оценил большое, на полстены, изображение некоего мужа в парике с лицом изумленным, но страстным, даже умным. Объяснялось мелкими буквами внизу, что это «господин N, прибыв в Лондон, сделал банкет про нечестных жен и имеет метрессу, которая ему втрое коштует, чем жалованье».

Фёдор Никитич так давно умер, что не вся дворня его помнила.

Висели в большой зале, а также в кабинете тетеньки (бывшем — мужа) картины из Москвы, из немецких земель, а может, еще откуда. Например, большая картина, на которой в повозке, влекомой огненными конями, истинный герой в блестящем шлеме грозил врагам коротким мечом, таким же блестящим. Ничего подобного на свете больше нет, пораженно думал Алёша. Раскосые китайцы босиком, золотые жарптицы. Только яиц не несут, хвалила птиц тетенька. Небо как в огне и рыбы понизу, будто там начиналось озеро Нижнее. Кисейные и шелковые гардины на окнах, каменный камин, на полке большие нерусские часы, в одном месте старинный сундук, тоже расписанный, но скромно. Алёше так и казалось: наверное, драгоценные вещи в том сундуке, как в сказках. А на южной стене портрет: строгий господин с усами, каких Алёша никогда не видел, даже у папеньки усы были меньше, с бородой на обе стороны. Это в кафтане строгом покойный Фёдор Никитич позировал на фоне старинных замков и прочей дивной архитектуры. Тетеньку уважали, к ней даже губернатор приезжал выразить уважение. Подходя к портрету, хвалил: «Отменно похож». Среди синих виноградных кистей, среди невиданных плодов на фоне старинных замков строгий господин Фёдор Никитич правда звучал как плод большого воображения.

Иногда тетенька подзывала Алёшеньку, трогала лоб холодной ладошкой.

«Почему такой, будто вокруг ничего не видишь? Почему тихий?»

«Музыку слушаю, тетенька».

«Какую? Разве играет кто?»

Хотелось правду сказать, что это для него сами стены звучат, как музыка, но тетенька могла не понять. Однажды, вздохнув, сказала: «Вот ты читать научился, задумываться стал, пора постигать и другое знание». Разрешила заглядывать в книгу «Домашний лечебник». Поначалу боялась, что некоторые слова смутят мальчика. Вот стомах, например. А почему стомах? Почему не просто желудок? Тетенька поясняла: нам и желудок можно сказать, а ученым людям проще понимать друг друга через такие слова, поэтому и ты учись. Спрашивать будешь меньше.

Когда тетенька хворала, пользовали ее непременно травками из «Домашнего лечебника», даже приглашали доктора из губернии, который был известен чудесными излечениями. Алёша сам видел, как кровь пускали, пиявки ставили, не боялся ничего такого. Привык и к тому, что тетенька в минуты сильного волнения могла говорить как бы без перерыва, совсем не останавливаясь, не задумываясь. Начинала просто: «Алёшенька пробавляй время в делах благочестных знаешь слышал некоторые живут лениво разум их тмится из того добра нельзя ждать...» А дальше пугала без перерыва: «Ленный и встать не может на скамьях да печи вечным отдыхом чего кроме дряхлава тела будет даже веснами к окну не подходит бойся...»

Пугала, а Алёша не боялся.

Ему незримая музыка помогала.

Ни темных кладовых, ни пыльных комнат — ничего не боялся.

На ночь в усадьбе злых собак с цепей спускали, голоса их сливались, будто из одной стаи, но Алёша скоро научился их разделять. Однажды в погоне за незримиными голосами забрел в анбар, забитый кулями и ящиками, но оттуда выгнал его Ипатич. Сказал с неясным укором: «Не место тут тебе бывать, барич, не торопись к тетенькиному добру. Дверь распахнута для просушки, для проветривания. Бог даст, все твое будет».

В церковь тетенька ездила редко, сердилась на упреки родни, но стояла на своем: «Вот еще, буду незнакомому попу про себя рассказывать!» И добавляла с крестным знамением: «Кто Бога боится, тот в церковь не ходит».

Конечно, была у батюшки на плохом счету, но ее это не печалило.

Как все, постилась до появления первой звезды, что было знаком окончания Рождественского поста. Ругала турков, они русских режут. Ругала монахов, на них бы хомут, любую повозку потянут. Ради интереса и воспитания обещала Алёшу свозить к литургии, послушать псалмы, гимны, распевание молитв, но или хворала, или времени не оказывалось. Да и чего ехать так далеко? Была у нее в доме своя комнатка, называлась крестовой, там стояли образа во всю стену, как церковный иконостас.



А под образами — аналой со святыми книгами, тяжелые медные подсвечники с восковыми свечами. Алёша особенно запомнил птичье крылышко для обметания пыли с образов.

А в сенях господского дома — рогожа для обтирания ног.

А на лавках в людской и в комнатах — куски грубой ткани.

А в спальне тетеньки — зеркало в углу, хотя церковь такого не одобряет.

Зеркало — заморский грех, чего в него смотреться? Вон домашние перины набиты лебяжьим или чижовым пухом, чистые тафтяные наволочки — это правильно. А зеркало разве сущность отразит? Алёше, кстати, спать больше нравилось на простой звериной шкуре, как Ипатич любил. Зеркало его пугало, так и тянуло рожищу скорчить, а это нехорошо. Иногда помогал тетеньке составлять роспись кушаний на разное время года. И простые вина, и добрые, и боярские, из разговоров взрослых знал, что от боярского вина четверной перегонки люди и угореть могли. В общем, чудно было в доме и в усадьбе. Маменьки нет, папеньку почти не помнил, а облака за окнами плывут как прежде. И яблони цветут как прежде. И как прежде закладывают в огородах специальные парники, воспитывают на них дыни.

Теплыми вечерами гнали коров с пастбища, пахло молоком, навозом.

Звон боталов, низкое мычание, копыта шлепают.

Мусикия.

## 6.

А потом приехал немец.

«По твою душу», — ревниво сказал Ипатич.

Алёша дичился человека в незнакомом кафтане, но тетенька приказала учить немецкие слова и отвечать на вопросы, учение, известно, только мужикам не в пользу. Немец лености совсем не признавал, оттопыривал толстую губу. Отказал Ипатичу в долгих прогулках с Алёшей на реку и на озеро, пожаловался тетеньке, что дядька на киндера влияет неправильно. Тетенька знала, что Ипатич при Алёше с детства, поэтому немцу не совсем поверила, но так сказала: мы киндера выдерем, это помогает, а дядьку Ипатича оставь, у него свое дело. Да и то, известно ведь, что «младый отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и безпокоен, подобно как в часах маетник».

Немец, конечно, изменил мир, но голоса Алёше и сейчас слышались.

Он многих людей в Томилине теперь знал — если не по имени, так по голосу. Издали мог сказать, бежит ли это девка Матрёша от колодца, или конюхи у забора переругиваются, или еще кто. Однажды Ипатич на коляске по указу тетеньки повез герра Риккерта в церковь — пусть посмотрит, на чем истинная вера стоит. Сперва Алёша ехать не хотел, но поехал, а там, увидев мальчиков на клиросе, все забыл. Они как ангелы пели. Кто поверит, что потом выскакивают из церкви и диких кошек го-

няют по деревне? Вот как научились у церковных дьячков для певческого хора — волшебны пели. Нищие тоже поют, и колодники поют, и бабы ходят с жалобными причетами, но это все было, оказывается, неправильно, это было как обычное мутное половодье, а мусикия небесная — хор с клироса. В ушах кузнечики звенят, по небу облака тянет, и томит, томит сердце. Никак не спутаешь мусикию небесную с бабьими голосами. А совсем простую песнь, какую поют в людской, и церковь преследует. Вот Христос с пророками и архангелами призывает нас, сказал в тот день в проповеди батюшка, а дьявол наперекор предлагает гусли, свирели, пляски. Христос и пророки речут: «Придите ко мне вси», а никто с места не двинется. А дьявол только заречет сбор, сразу набегит много-много охотников. Алёша до этого и в тетенькину образную входил нехотя, а тут рот раскрыл. Гудки, сопелки, медные роги и барабаны — это все слова. А мусикия — истинная философия и грамматика.

После хора, услышанного в церкви, что-то опять изменилось в Алёше.

Летом, знал, на полянах водят хороводы, но Алёшу туда не пускали, он только издали слышал, как девки поют, душа томилась — тоже ангельский хор. «Ты не стой, не стой халдеем», — строго тыкал Алёшу дядька Ипатич. А немец добавлял: «Видердих! Отвратительно! Они там, как язычники, прыгают над огнем, крику много». И взамен, чтобы Алёша обо всем таком не думал, выкладывал привезенные им немецкие книги с разными кунштами, картинками.

На одной картинке карта земная с океанами.

Алёша увлекся. «А Зубовка где? А Томилино?»

«Нет таких. Это мелочь. Крискрамс», — презрительно отвечал немец.

Но Москву указал. И опять и опять заставлял писать, заучивать, рисовать.

«Младьяя отроки должны всегда между собою говорить иностранным языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо когда им что тайное говорил, случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли и чтоб можно их от других не знающих болванов разпознать: ибо каждый купец, товар свой похваляя продает, как может».

Никакой небесной мусикии, никакого хора, зато дисциплину немец поставил.

Животик у герра Риккерта округлился на тетенькиных харчах, он теперь важничал, голову драл, как гусь, считал себя центром жизни, когда однажды в карете, забрызганной дорожной грязью, прибыл в Томилино некий француз кавалер Анри Давид. Так он назвался, галантно присев перед вышедшей на крыльцо пораженной тетенькой, взмахнув широкой шляпой. Прямо нашествие неизвестных людей, уж не война ли? — шептались в людской. Был француз кавалер Анри Давид в парике, но по жару большой по разрешению тетушки парик сбросил, голова оказалась кру-



глая, с локонами, нос торчал. Живо водил глазами, светлыми, как стекло, но немного как бы запыленными. Это от опыта, от большого знания жизни. Тетенька была взволнована, она наконец дождалась давно выписанного ею умного человека — управляющего. Считала, теперь будет толк, а то спорные деревеньки никак в руки не даются. Да и сложней станет дворовым воровать, ключнице продукты утаивать. Вот умный немец дисциплину навел для молодого киндера, а умный француз дисциплину наведет для всей дворни. А то более полутора тысяч живых душ, за всеми не набегаешься.

К обеду тетенька вышла румяная, на пальцах перстни, один с камнем, плещущим искрами. А перед французом указала поставить чашу с умным напоминанием: «Зри, смотри, не завидуй». Разговор сразу пошел простой, правда, немец на этот раз больше молчал. А француз весело указывал, что на подъезде к Томилину слышал всякие интересные славные голоса. «Это в Нижних Пердунах, наверное», — понятно сказал Алёша. Тетенька укоризненно покачала головой и пояснила французам, что на самом деле это, наверное, у нее девки поют. А кавалер Анри Давид этому еще больше обрадовался, вот, дескать, как хорошо, можно будет хор построить. «Ты сперва дела построй», — опять укоризненно покачала головой тетенька и стала звать французам по имени.

После этого французам стали бояться.

Тетенька требовала его в кабинет, там запирались.

Немец хмуро играл на клавесине в большой зале под жар-птицами, Алёша заучивал грубые немецкие слова, а девка Матрёша с ног сбилась — то новости носила от старосты, то росписи от ключницы. Немец хмурился: «Цу бетрюген». Алёша негромко подсказывал Ипатичу: «Это вот не верит немец французам». Ипатич кивал: так и должно быть, ведь французам за труды его положили больше. Ворчал, что дешевле было бы привезти пленного шведа. Шведы знают нужное, а не многое.

Но тетенька, кажется, и хотела того, чтобы управляющего боялись.

Девка Матрёша, например, точно боялась французам. Когда однажды Алёша попросил Матрёшу тайком повести его на берег, чтобы хоть издали увидеть языческие пляски и пение у костра, она прямо ему сказала, что ничего такого не сделает, потому что сильно боится французам. И пожаловалась, что кавалер Анри Давид без всякого дела щиплет ее при встречах. А она ойкает, но терпит, так боится. Алёша предложил рассказать о таком странном обращении тетеньке, но Матрёша еще больше испугалась. Ссылалась на какие-то свои тайные сны. Вот к чему такое? — испуганно спрашивала. Видела мышей во сне, они отцовские порты грызли. Не к худу ли? А еще сам посмотри, говорила Матрёша и бесстыдно приподнимала сарафан. Вот они, явственные синяки от щипков.

Алёша краснел и отворачивался.

Муסיкия.

Однажды Алёша читал «Азбуку, или Извещение о согласнейших пометах».

Не совсем понятная книга. Тетенька тоже заинтересовалась: «А что такое рондо?»

Отобедав, сидела в своем любимом диковинном кресле, обитом синим бархатом, пробовала темное питье из клюквы.

«О, рондо! — вздыхал немец значительно и очерчивал круг в воздухе. — Это от слова “круг”».

«Ну, круг. Что в этом особенного?»

Француз, поглядев на немца, вмешивался.

«Рондо — это от музыки. Вроде круг, а все же не круг. Это скорее движение по кругу. Я потом Алёше все подробно объясню. — Француз Анри не смотрел на хмурого немца. — Я знаю, Алёше интересен хор. Он давно хочет узнать о канте. Канты у вас тоже поют, — сказал Анри тетеньке, даже напел душевно: — “Почто, фортуна, меня обходишь, почто на сердце тяжку скорбь наводишь”. — Но чувствовалось, что говорит он все это и напевает не столько для тетеньки и Алёши, сколько для того, чтобы окончательно смирить немца. — Я Алёше и о мадригалах расскажу, и о том, как голоса в хор собирают, а то он все одни немецкие глаголы учит. — Анри укоризненно покачал головой, ему не нравился герр Риккерт. — Про мотет расскажу Алёше и про партесное пение. — Ласково глядя на тетеньку, перечислил, о чем еще расскажет воспитаннику: — Ну, псалмодия там и секвенция».

«Да что за страсти ты говоришь, Анри?»

«И про страсти расскажу, — охотно подхватил француз, не глядя больше на уничтоженного немца. — Вам это тоже интересно, Марья Никитишна. — Он каждое русское слово выговаривал с такой точностью, что немец прямо на глазах темнел, как небо над Нижними Пердунами. — “Кто крепок, на Бога уповая...” Мы сами с Алёшей положим страсти для голосов, когда свой хор построим. Страсти господни — они и в Евангелии отражены. Иисус страдал, и нам приказано».

Алёша хотел спросить немца, а что он, герр Риккерт, думает об указанных кавалером страстях и страданиях, но Анри незаметно ногой толкнул его под стол. Это был не знак молчать, а вроде как обещание: молчи, после все расскажу. А вслух кавалер высказался в том смысле, что, конечно, Алёша должен учиться. Не дело француза было вмешиваться в учение, но удержаться не смог. Латинский дух кипел в кавалере.

«Я потом растолкую Алёше “Азбуку, или Извещение о согласнейших пометах”, а то некоторые немцы говорят, — Анри даже не посмотрел в сторону герра Риккерта, — что эта русская книга запоздала. Что эта русская книга напечатана с ошибками. Да если и так, — как бы ослабил Анри давление на немца. — Да если и так, все равно у вас зна-



менная нотация темна сама по себе. — Кавалер видел темное непонимание в глазах тетеньки, но видел и ее неизбывный интерес. — Например, знак греческой буквы фиты — это у вас и музыкальный знак, и символ Бога, Феос, и Троицы. А параклит, если по-русски, это истинный утешитель, это как бы сам Святой Дух, и крыж над ним — знак покоя и завершения».

«Страсти, страсти», — пугалась тетенька.

И взглядывала на немца: «Нужно Алёше такое знать?»

«Лучше знать, чем упустить», — в ответ неохотно кивал немец.

Марья Никитишна опять пристально смотрела на хмурого немца, правильно ли пригласила учить Алёшу, правильный ли оказался немец? Но, услышав слово «рефрен», не выдерживала, снова обращалась к Анри.

«Ах, это как бы припев к песне», — отвечал кавалер.

«Ну тогда что за секвенция такая, почему ее герр Риккерт опять упомянул? Зачем Алёше секвенция? Поют вон псалмы в церкви — и хорошо, пусть поют. Хор-то зачем? В Томилине особенно».

Но учить Алёшеньку надо.

Надо, надо. Не Тришкой же ему расти.

Встанет на ноги, сам поймет законы, с умным немцем будет говорить такими словами, что в столице обратят внимание, пригласят на службу. Вот там-то и разовьется, пристанет к делу. Правда, не знала тетенька, в каком таком деле разовьется Алёшенька. Все равно, ишь придумали, рондо — круг. Вот озеро за Зубовом действительно круг. И зря кавалер во все это Христа впутывает. Даже перекрестилась. Иисус страдал, отсюда и страсти. Алёшенька подрастет, все устроит.

А Алёшенька думал: «Господи, спаси тетеньку».

И накатывались на него волны волшебных звуков.

Вот как чудно и непросто устроен мир: отовсюду голоса.

И человечьи, и птичьи, и звериные — все разные, все особенные.

А чтобы и в этом порядок был, немцы все голоса разделили по высоте, дали им названия. Людей с красивыми голосами специально готовят для пения в церкви, чтобы до каждого донести, как прекрасно трудятся ангелы на небеси и славят Бога. Там теноры — высокие и низкие, там баритоны, басы. Тучные люди славятся низкими голосами, худощавые — высокими. Наверное, и у ангелов так. Зачем же какой-то хор? Девки сами по себе поют, а мужикам ни к чему.

## 8.

Уж как рыбу мы ловили  
По сухим по берегам,  
По сухим по берегам —  
По анбарам, по клетям.





А у дядюшки Петра  
Мы поймали осетра.  
Да такого осетра,  
Что с гнедого жеребца.

## 9.

Тетенька слушала, думала.

Не будешь думать, с круга собьешься.

Недавно заезжал сосед из дальней-дальней Сосновки, и Хитровы приезжали с Мокрых Долов, бывала даже помещица Хренова. О рондо или об этом, как его, параклите у них ни слова. Зачем хор, если новости сами приходят в Томилино? Заслышали колокольчик от поскотины, значит, скоро узнаем что-то новое, без параклита и мотета. Хор — это баловство. Вот помещица Хренова, добрая женщина старых обычаев, долго пила чай, поправляла платок на дородных плечах. Ну зачем ей хор? Она провела месяц в Москве, ужаснулась тесноте, грязи, стерво валяется под домами. А новая столица Петербурх тем и спасается, говорят, счастье, что каждое половодье вычищает ее как метлой. Хоть год копи мусор, все смоем за сутки. Только зачем все это? Зябко кутаясь в пуховый платок, помещица Хренова понижала голос, вот, мол, скоро везде, и в Томилине тоже, будут отнимать по сотне душ крепостных самых крепких, чтобы возить землю и камни для новой столицы, на болотах ведь ставят.

«Нам до столицы далеко».

«Ну, не говори так, не говори, матушка Марья Никитишна. Нынешний-то государь деятелен. — Помещица Хренова цветным платочком утирала свой широкий, не очень умный лоб. — Говорят, при нем теперь по правую руку сидит простой человек Федька Склаев. Вывезен из Воронежа, только плотник, а сидит на братнем месте, когда даже вице-адмирал Крюйс (запомнила ведь имена, хотя, может, врала), и шаутбенахт Боцис, и морские офицеры ниже расположены.

Тетенька вздыхала.

В глубине России живем.

Непредставимо далеко живем.

Рядом кудрявые березовые колки, извилистая речка Кукуман, плоское рыбное озеро, мельница у запруды. Дальше — выгоны, пастбища, поля. Вот и все, на большее все равно рук не хватит. К тому же недобрые соседи замучали. За Нижними Пердунами вообще будто мир другой, не успеваешь отбиваться. А если сотнями начнут души хватать, уводить в столицу — где крепостных напасешься?

## 10.

И облака, облака белые над Томилином.



## 11.

Вдруг к обеду тетенька стала выходить хмурая.

Немец и раньше не отличался говорливостью, зато Анри старался.

Рассказывал всякое. Например, о том, что французский кардинал Ришелье очень любил кошек, а кардинал Мазарини, напротив, особенно привечал зябликов. А людей? Ну, Анри, конечно, ждал такого вопроса. Ответил по-французски тонко: презрение к людям кардиналы, конечно, высказывали, потому как зяблик и кошка никаких интриг не плетут. Тетенька при таких ответах задумывалась, смотрела на француза больше как на зяблика. Он это чувствовал. Несколько смешавшись, рассказывал о другом: о принце Анри де Конде, которого тот же французский кардинал Ришелье за дурные мысли сослал в дальнюю деревеньку. Марья Никитишна, услышав такое, опять поджала губы, вот-де Господь лучше знает, что кому надо. Но все в лыко. В той дальней деревеньке жена принца родила ему двух детей: дочь Анну Женевьеву де Бурбон, которая впоследствии обрела известность как герцогиня де Лонгвиль, и сына Луи де Бурбона, ставшего впоследствии Великим Конде.

«Ты, Анри, как зяблик поешь».

По разным делам кавалер Анри Давид стал часто уезжать к соседям дальним и близким, собирал нужные для дела бумаги, мнения, журил ключницу, местных крестьян ободрял французскими шутками, но его все равно дичились, а девка Матрёша даже пряталась от него. Он как буря налетал, щипался, как гусь, шептал: хочет хор построить, и Матрёша помногу петь будет. Ипатич тоже прислушивался к французу, но что рыбой дрозд поймет в крике зяблика? Анри теперь обрел крепкую привычку устраиваться в зале под неусыпным взглядом покойного Фёдора Никитича с расчесанной надвое бородой и подробно объяснял Алёше то, что Ипатичу казалось ненужным. В самом деле. Как можно объяснить ход рыбы или то, как неподкованная кобыла расплескивает лужи? Кобылу запряги — она будет тащить и повозку и дроги, и рыба сама пойдет на крючок, если, конечно, не забудешь наживку. Что толку в пустых словах?

А француз остановиться не мог.

Вот, дескать, хор — это не просто так.

И музыка в столице на ассамблеях, объяснял, большею частью сборная.

Там трубы, фаготы, гобои, литавры, а некоторые вельможи имеют свои капеллы, например, у княгини Черкасской такая есть, он доподлинно знает, сам государь княгиню посещал, пока война не оторвала. Есть и такие, что состоят из одного фортепиано, нескольких скрипок, одной виолы д'амур, одного альты, виолончели, контрабаса, двух флейт и двух валторн. Наверное, количество было важным, потому что Анри неумоимо повторял: одной, одного, двух. «Пленительная игра сих музыкантов и новость всяких привезенных инструментов, — во время обеда красиво объяснял Марье Никитишне, — доставляют хороший случай показать искусство

музыки. А сами хоры бывают однородные и смешанные, отдельно из девок, отдельно из мальчиков».

«Да как так, Анри? — играла бровями тетенька. — Ни в старой Зубовке, ни в Томилине, ни в Нижних Пердунах никогда такого не слышали и вверх по реке Кукуману еще не случилось ничего такого».

А француз настаивал: есть верхние и нижние голоса.

Вот девка Улька, указывал (кажется, всех девок в Томилине обсмотрел), очень славно пицтит, ну и другие, и у девки Матрёши голос плавный, нежный, а если конюха Ефима научить, то от его голоса посуда начнет трескаться.

Вилланела, фроттоле, вильясино. Не обед, а какие-то дивные резонеманы.

Немец в этих разговорах не участвовал, но уши держал открытыми. Дисканты, альты, тенора, басы — это все слова. Голоса у девки Матрёши или у того же конюха Ефима и без этого сами собой звучат. Француз прыток, он как петух готов впрыгнуть в самую большую стаю деревенских девок, только какой из них хор? Просто это он Алёшу специально сбивает с толку.

Алёша правда дивился.

Услышал, например, слово «дивизи».

Как разделится хор на два голоса, так получай дивизи.

Жили-были, прыгали через костер, ловили рыбу, зачем же дивизи?

Не закажи тетенька французского кавалера Анри Давида — и теперь жили бы без дивизи и даже без нотыноса. Алёша немало этому дивился, но мысленно стал ставить Анри выше герра Риккерта. Немец — молчун, а Анри вечно что-то напевает. Листвы шум, плеск речки, порывы ветра — ничто ему не мешает, а, наоборот, все будто вплетается в его голос. С улицы придет, где грязь по колено, все равно поет. Герр Риккерт учит многому, но получается, что удовольствие достигается и пением. Алёша боялся этой мысли, он не умел врать, спроси его тетенька, он все свои смущения тут бы и высказал, но тетенька не спрашивала.

А у французса свое на уме.

«Скажи Матрёше, чтобы в овин пришла».

И смотрит весело, пронзительно, нужно ему и Матрёше рассказать про дивизи.

В первый раз Алёша согласился, пошел, заглянул в людскую. Кто-то там спал на печи, на лавке сапожник чинил сапог, конюх Ефим зашел, пил чай. Матрёша как раз помыла миски, крынки расставила сушить. «Чего, барич?» — спросила, выйдя на крылечко. Алёша сказал про овин, про Анри, а Матрёша неожиданно рассердилась: «У меня от него еще от прежних разов жопа болит». И опять хотела приподнять сарафан, показать синяки от щипков, но при открытых окнах не решилась.

Алёша и не стал больше ходить.

Зажигалась в нем смертная музыка.



В пятнадцать лет остро стал чувствовать красоту.

Сам лобастый, плечи узкие, локоны светлые, зубки выдаются вперед, как у всех Зубовых. Стал стеснение невнятное испытывать — от умного немца, от грозной тетеньки, от веселого француза, от девки Матрёши. Иногда тетенька, как раньше, звала Алёшу в кабинет, располагалась в любимом кресле, указывала на книгу: «Читай». И добавляла: «Книга такая глупая, что смеяться буду».

Книга и правда глупая. «О диспозиции и разделении».

«Коли строить желаем хор...» — начинал негромким голосом.

«Да как так? — удивлялась тетенька. — Опять хор? Почему хор?»

Читал: «Это только в партесных концертах количество частей не регламентировано...»

Тетенька, как при головной боли, сжимала виски ладонями: «Ну совсем глупая книга». И спрашивала, спрашивала изумленно, даже растерянно: «Ты-то мне, Алёшенька, такое разъяснить можешь?»

Алёша даже напевал, разъясняя, что такое есть хор, поминал хороших мальчиков на клиросе, но тетенька и от этого только морщилась. «Ты, Алёшенька, пустое несешь. Что увидишь в книге, то повторяешь».

И указывала рукой — уходи.

И звучали, звучали в голове волшебные голоса.

Оставшись один, смотрел в открытое окно на медленные облака, думал о тетеньке, о французе, о девках у костра. Вдруг вспоминал Матрёшины синяки. Кожа белая, все у Матрёши выпуклое, нежное. Стал остро чувствовать время. То гуси в небе, то дождь стеной, эхо благодать какая. Вспоминал: а как же папенька? А как же варнаки, повешенные доброй тетенькой? А бедная маменька? Где теперь, почему такому надо было случиться? Хор в голове звучал все печальнее. Вон тетенька тоже растет как дерево. Когда нужно — запирается с французом Анри в кабинете, на два ума решают, как быть с хозяйством, как вернуть спорные деревеньки. Иногда в кабинете говорили громко, иногда подолгу молчали, думали, наверное. Тетенька вдова. У нее много крепостных душ, приходится самой во всем разбираться. Теперь, правда, кавалер Анри Давид помогает. Девка Матрёша осторожно приостанавливалась у дверей, не подслушивала, конечно, но другим не давала. А потом, будто испугавшись чего, бежала к старой черной Устинье на край села, и там Устинья гадала ей по течению и стоянию звезд, и виден был снаружи через крошечное окошечко одинокий каменный болван на взгорке посреди поля.

А тетенька выходила из кабинета довольная ходом дел.

## 12.

Алёша полюбил смотреть на осенних птиц.

В душе что-то отцветало незримо, неслышно.

Летели гуси за деревеньку Нижние Пердуны, говорили, что там где-то есть юг, даже море. Море — это соленая вода, разлившаяся как озеро,

только много шире. Алёша теперь часто гулял один, сердил этим Ипатича. Стал интересоваться животными. Все в ту осень томило его.

Увидел, например, убитого мужиком кабана.

Дома в особой тетрадке, в которой грифелем рисовал человечков с разным количеством пальцев на руках и все такое прочее, изобразил что-то страшное, в щетине, подписал: «Я — зверь!» После уроков с немцем шел на зады деревни, где грязная дорога как кисель впитывала все в нее упавшее. Обходил плохие места по камням, по кочкам, дивился обветшалости некоторых изб, вдыхал запах прохожих коров, боялся быка по кличке Гром. На опушке леса птицы поражали Алёшу своим гвалтом, дивили неяркие осенние бабочки. Крот слепой — это всем понятно, крот в земле живет, а вот бабочки всегда на виду, их красивыми сделал Господь. Записал в своей тетрадке: «Старик Гуца слепой, а не живет, как крот, под землей». Когда спросил о своем недоумении тетеньку, она нахмурилась: «Ты мне Тришку напоминаешь».

Записывал: «Корова пахнет коровьим маслом».

Может, точнее было бы записать — молоком, но хотелось записывать так, как в голову приходило.

«Собака улыбается, намекает на разум свой».

Дальше шли записи про грачей, про скворцов, уток, даже про дрозда, рябого, как Ипатич, про глупых кур, не способных думать. Тетрадку увидела тетенька. Мешать не стала, но указала: а где полезность? Он задумался и стал дописывать некоторую полезность к отдельным своим словам.

«В корове все полезно», — так указал.

«Кошка мышей ловит. Кормить кошку вредно».

Правда, про бабочек получилось неясно, ну мельтешат, ну красивые, а польза неясная. Тетенька, прочитав, опять непонятно заметила: «В твои годы все в дурость впадают». Ей, наверное, рассказали, что Алёша тайком, увлеченный свободными идеями кавалера Анри Давида, бегаёт слушать девок, когда на лугу поют у костра. Конечно, сам не подходит к костру, но ослушание налицо. А он к тому времени видел уже такое, что ночью уснуть не мог. К примеру, за флигелем как-то встретил Матрёшу. Несла веники в дом, правда, какой-то не той дорогой, какой-то другой, все задворками, задворками, может, от старой риги. Увидела Алёшу, чего-то испугалась, стала целовать руки: «Барич, барич, ты только барыне не говори». А он не понимал, о чем она. Ну щиплют, так что? Даже гуси щиплются. Зачем он будет говорить про такое? Ну страдает Матрёша от подлых рук свободного француза, ну так не бежит жаловаться тетеньке. Алёша уже как-то тайком заглядывал в тетенькин письменник — «Приклады, како пишутся кумплементы разные». Не все там понимал, но многое заставляло задумываться, как иногда плохое слово, сказанное за спиной.

Тетенька в ту осень тоже вела себя необычно, волновалась без причины.

Произносила вдруг как одно целое без перерывов. «Алёшенька у Анри волосы крашенные совсем рыжий парик перестал надевать у нас и не нужно волосы выцветать стали говорит про хор про голоса а надо не строить в ряды а думать дело дай такому Анри волю он всех построит ты помни ты к немцу держись порядок у него характер воспитывай немец учит драть мужика ты смело гляди немец одевается как мужик потому как это правильно а Анри несусветно все тутти да диспозиция подразумеваю не слышит ход времени мне твою маменьку жаль».

Он не знал, как на такое ответить, сказал только:

«А мне красивая птица снилась, тетенька. Перо золотистое, хвост веером».

«Да откуда у нас в Томилине, пусть и во снах, водиться стало такое?»

«Может, из блаженной страны прилетела, тетенька».

«Да где может лежать такая блаженная страна?»

«Может, за Нижними Пердунами, тетенька».

Она указала рукой — уйди. Но не рассердилась.

Алёша послушно вышел и на крыльце задохнулся чистым воздухом.

Тихая-тихая осенняя речка Кукуман невдалеке устремлялась в лес, совсем терялась в густых кустах. А куда течет, где кончается? Может, правда уходит в соленое море? Может, правда, если плыть на лодке, увидишь большую воду?

### 13.

И сам уже понимал, что надо учиться.

Сносно говорил по-немецки, сам герр Риккерт сдержанно одобрял.

Немного стал говорить по-французски, Анри считал, что больше и не надо.

Мон амур... Амбассер ма петит фема... Все же тетушке эти слова старался не повторять, обходился совсем простыми. И держался смирно. «Никто не имеет, повесь голову и потупя глаза, вниз по улице ходить или на людей косо взглядовать, но прямо, а не согнувшись ступать и голову держать прямо ж, а на людей глядеть весело и приятно, с благообразным постоянством, чтоб не сказали: он лукаво на людей смотрит». Тетеньке не нравились слова, которым кавалер Анри Давид учил Алёшеньку. В его возрасте, считала, нужны другие. Но, вздыхала, может, и эти пригодятся. Требовала от Анри многого, даже выговаривала ему за спорные деревеньки: «Почему дело ни с места?»

Такая и кукушку перекукует, но кавалер в ответ весело всплескивал руками.

«Да как сдвинуть дело, любезная Марья Никитишна? Кто у вас мерил землю? Безмерно живете, ни дорог, ни меток. Начнешь расспрос, в ответ указывают: вон от устья речушки до сухой березы — это ваша земля, а от сухой березы на болото, а оттуда на взгорки до лисьих нор — тоже ваша. А соседи на это говорят: нет, до лисьих нор — это их зем-



ля. И вообще, — начинал кипятиться Анри, — что за приметы? Повалит ветром сухую березу, увезут ее на дрова, тогда к чему примеряться? В дальней Бурловке церковь поставили, главы покрыты белым железом, так и сверкает в приличной кротости, а ведь и они самым краем, но залезли на вашу землю».

«Ну так вези подарки в губернию».

Господи, помилуй тетеньку, думал про себя Алёша.

Теперь иногда сидел перед нею точно как Тришка — дурачок деревенский.

Надо на вопросы отвечать, а в голове никаких мыслей нет. А тетенька от него слов ждала. А он не знал — каких. И немец не подсказывал. А француз Анри не до того было. Тетенька выходила к обеду хмурая, перед кавалером Анри Давидом по ее указанию ставили теперь другую чашу с умным напоминанием: «Не злись, смирись, человек, желаешь славы земная, за то не наследия небесная».

Ну и пусть. Алёша вдруг научился врать.

А все потому, что повадился слушать девок.

У Анри хор с ними не получился — времени на это не было, и тетенька сердилась: и без того в светлые праздники плясали и пели по всей деревне, даже в истощенных Нижних Пердунах. Немец на такие праздники не ходил, а тетенька посылала людям вина, сама тоже не ходила. И задержанный за столом француз боялся показать, что обижен, делал вид, что ходить никуда не хочет.

«Ваши дикие русские пляски давно отменять надо».

«Так нельзя, — возражала тетенька. — Чем заменить такое?»

«Степнным польским менюэтом, — находил Анри. — Так теперь в Петербурхе делается. Сам государь любит менюэт и резвый английский контрданс. Пленные шведские офицеры много учат танцевать русских дам и кавалеров».

«Учить — дело простое. Переучивать трудно. Наши танцы привычнее».

«Государь прикажет, привыкнете к новым».

«Это еще к каким?»

«А к таким, где становятся кавалеры и дамы, как в экосезе».

Тетенька невольно крестилась: «Что за слова ты высказываешь, Анри?»

«Совсем простые, но чувственные, — с удовольствием объяснял француз. — Экосез — это когда кавалер кланяется даме и ближайшему кавалеру, а дама следует его примеру, и, сделав круг, оба весело возвращаются на свое место».

Тогда немец вмешивался. «На той неделе урядник проезжал. Соседу из Севастьяновки сообщил, что в столице на отмени против острова Котлин государь заложил новую крепость в честь святых Петра и Павла, хочет загородиться от чужого флота...»



«А в менуэтах, любезная Марья Никитишна, — не слушал немца француз, — дамам предоставляется выбор. Кого хочешь, так и будет. А кавалер, кончивший танец с выбравшею его дамою, обязан в свою очередь выбрать другую даму и, протанцевав с нею, перестать, а дама продолжает танцевать с другим кавалером...»

«А еще говорил урядник, государь нынче ставит Адмиралтейство, желает флот завести. Говорят, башню поставил на реке Неве, на шпигеле грозный кораблик...»

«А турки как же?» — вспоминала, пугалась тетенька.

«А турков замиряют. Сперва побьют, а потом замиряют. А новые башни обнесут высоким земляным валом со рвом и палисадом, с бастионами, обращенными к реке Неве, с корабельными пушками...»

Тетенька сжимала виски руками. У нее и с Нижними Пердунами никак не сладится какой год, а государю такая тяжесть — то турок, то швед, то католики нападают. Немец на раздумья Марьи Никитишны важно поднимал умную голову, он как бы отталкивал легкомысленного француза. Не о выборе кавалеров герр Риккерт говорил, а о новых зданиях, кораблях, пушках, якорях. О том, как ставятся для нужд армии и флота железные и оружейные заводы в Олонецком крае, как под страхом смертной казни запрещается рубить корабельный лес. Вон уже из Казанской и Нижегородской губерний сплавляют по Волге и ее притокам плоты, а в окрестностях высаживают новые дубовые леса. А для острастки ослушникам-порубщикам по берегам часто-часто расставлены виселицы с ясным пояснением, для чего поставлены.

«А хор запоем под флейты и барабаны...»

«А кораблям матрозы нужны, чтобы снасть ставить...»

Тетенька вздыхала, смотрела грозно, терла виски уксусом.

Отчаивалась. «Совсем запутали запугали еще дожди пойдут мужики балуются а вы про католиков турков да экозес и всякие менуэты в Нижних Пердунах контрданс не введешь если пороть даже каждого второго у них и без того коровы тонут в навозе Алёшу лучше учите ему многое надо знать...»

## 14.

Потом сосед с людьми набежал со стороны Нижних Пердунов.

Стреляли из ружей, напугали баб в старой Зубовке, трясли фруктовые деревья, сожгли анбар. Не зря, ой не зря за день до такого за окном тетенькиного дома в Томилине жаба ворковала страстно и червячок точил и точил в деревянной стене. Давно спать надо, а червячок точит и точит. Вот и сожгли анбар, потрясли фруктовые деревья. Конечно, посланные к старой Зубовке здоровые мужики цели не достигли: ушли виновные на лошадях.

На другой день француз Анри поехал править расспрос к соседу.



Видели, как завернул француз коляску за поскотину, а к вечеру того же дня Алёша заметил знакомую коляску всего верстах в трех от Томилина у старой риги. Распряженная лошадь тихонько себе паслась. Сквозь распахнутые ворота, к ним подойдя, Алёша неожиданно рассмотрел в смутной глубине риги, что француз не расспрос с соседями правит, а крепко держит в руках девку Матрёшу — бесстыдно, сладко. Алёшу всего насквозь пронзило жаром. Так пылал, когда с разрешения тетеньки кавалер Анри Давид читал стихи, неведомо кем сочиненные.

Часто днями ходит при овине,  
При скирдах, то инде, то при льне;  
То пролазов, смотрит, нет ли в тыне  
И что делается на гумне...

Вот тебе и тын, и гумно, и пролазы.  
В старой Зубовке анбар сожгли, а тут француз.  
Нестройно грянули голоса в голове, что-то опять изменилось в мире. Конечно, донесли тетеньке. Не Алёша, не в жисть, кто-то другой. И к обеду вторничного дня тетенька к обеду совсем не вышла. Бедной вдове кто поможет? Алёша не знал, конечно, о чем шепчутся в Томилине, но с испугом догадывался. Кто-то предполагал, что спустят теперь французика в солдаты. Будет ходить в треуголке, в зеленом кафтане с медными пуговицами. Правда, на среду Анри уехал по деревням советоваться со старостами, как пригреть соседа, напавшего на Зубово. Общего мнения не составилось, но тетенька и на другой день не вышла к обеду. Анри совсем загрустил, а немец загадочно усмехался, требуя от Алёши новых знаний. Неужто и меня за леность спустят в солдаты, пугался Алёша. Шел грустный с того проклятого овина, на этот раз рядом был Ипатич, но молчал, вздыхал о своем. Потом прислушался: «Слышь, поют?»

«Днем?» — удивился Алёша.

«Так, видно, тетенька приказала».

Алёша даже ускорил шаг. Как так? Неужто тетенька разрешила своему французу наконец построить хор? Вон как грустно, убедительно поют. «При долине куст калиновый стоял...»

Еще издали увидели круг людей понурых при анбаре.

Все стояли, только тетенька сидела на низкой скамеечке. Вся в темном, грозно перед собой смотрела. Алёша взглянул на Ипатича, а Ипатич на него. Неужто все-таки решилось с хором? — хотел спросить Алёша, но смолчал. А Ипатич другое подумал и тоже смолчал. Он французика не любил. Хитрости французика были ему не по нутру. Знал хорошо, что это не с хором решилось. Вовсе не так. Французик, похоже, девку Матрёшу совсем запутал, как паук, вот теперь Марья Никитишна его и строила.

Рядом с тетенькой сидел строгий немец.

Он свой долг выполнил, в нем удовлетворенность чувствовалась.

А в понуром круге людском кто-то на деревянной кобыле лежал, и слышались мерные шлепки влажного кнута. Алёша ближе протолкался, уж так складно, так чудно, печально пели. «На калине соловеюшка сидел...» Но не голую спину француза увидел. Увидел задранный сарафан, круглый зад, белый, округлый, с уже уходящими синяками. У Алёши будто перехватило дыхание. Тело круглое, вохкое, не прикрытое ничем. Горбатая Улька да низкорослая Дашка с мельницы держали девку Матрёшу, крепко прижимали к кобыле, а Авдотья, жена конюха, тоже низкорослая, лицо злое, стегала кнутом. И француз был в понуром круге, правда, не вместе с мужиками, а чуть в стороне. Вон как распустились, говорил его взгляд. Рано, рано в Томилине думать о менуэте или об енгленте.

«Горьку ягоду невесело клевал...» — тянул хор.

Ну совсем отбились от рук, вел, наверное, француз свои резонеманы.

Дикие пляски, дикие песни. Надо им, русским, много учиться пению. Вот девке кнутом по белому заду. Зачем бы? А не балуй. И тетенька, наверное, рассуждала про себя. Вот хотел хор построить Анри, теперь слушай, как хорошо поют. Не в утешение глупой девке Матрёше поют, а тебе в укор. Впредь учти. У меня в Томилине, думала, наверное, если секут, то за вороватость, за грубость, за нерадивое пение псалмов, а теперь вот за неправильную мечту, так что слушай, Анри, слушай русское пение. Не зря утром сумрачно сказала француз: «Простить не смогу, но смягчу».

И смягчила. Вот он, куст калиновый. Слушай, кавалер Анри Давид.

Когда тетенька поднялась с низкой скамеечки, Авдотья, жена конюха, остановилась с опущенным кнутом, но тетенька, не оборачиваясь, махнула рукой — продолжай. Хор от этого ее жеста запел еще печальнее, еще горше, ровными, чистыми голосами. Никто их этому не учил, само складывалось. Из-за пения никто, кроме Алёши, не расслышал, как Марья Никитишна в некотором раздумии произнесла вслух: «Поправит задницу, отдам за Ипатича. У него рука тяжелая, баловаться не даст».

## 15.

*чяпъ-чяпъ*

## 16.

Алёша уснуть не мог, все видел Матрёшу, уложенную на деревянной кобыле.

Мгла во сне плыла неясными пятнами. Как сквозь туман — бледность кожи, следы кнута. «Выдам за Ипатича». Как так? Матрёшу — за дядьку? «Поправит задницу, отдам за Ипатича». Как? «Хор, видите ли! Даже певчих не во всякий монастырь пускают, там и старицы хорошо поют, лишь бы вера была». Тетенька вся кипела. Тетенька трое дни не появлялась к обеду. Француз молчал, немец не говорил о славе русского

оружия, а Алёша один убежал в лес, там плакал у мшистого пня, будто обманутый. Ненавидел француза, но стихи, когда-то им читанные, помнил дословно.

Вся кипящая похоть в лице его зрилась;  
Как уголь горящий все оно краснело.  
Руки ей давил, щупал и все тело,  
А неверна о всем том весьма веселилась!

Господи, помоги тетеньке. И сам не знал как.

Осина под ветром трепыхалась, как зарубленная курица.

У тетеньки полторы тысячи душ, даже больше. Они, конечно, Господни, но тела-то в тетенькиных руках! Хорошо помнил, чему обучали. «Не надлежит от слуги терпеть, чтоб он переговаривал или как пес огрызался, ибо слуги всегда хотят больше права иметь, нежели господин: для того не надобно им того попускать». Сейчас горько плакал у мшистого пня, утирал глаза рукавами. Мон амур. «Руки ей давил, щупал и все тело». Амбассер ма петит фема. Как такое можно? Вспоминал спокойные слова немца: «Басы временами напоминают звуки органа» — и вспоминал взволнованные слова француза: «А дисканты звучат волшебно». Почему все в жизни получается не так, как думаешь? Ипатич, рябой, как дрозд, скоро жить будет с Матрёшей. Как так? У мшистого пня плакал. И ночью в постели плакал. Думал: от всех этих известий все село, наверное, страдает. А утром, проснувшись, услышал за окном голос Матрёши — веселый, будто к новой жизни звала. А за обедом узнал, что в Томилино гость едет. Такой важный, что сердитая тетенька опять заперлась в кабинете вдвоем с Анри.

## 17.

.....

## 18.

Гость явился к обеду.

Из желтой пыли вынырнула обитая кожей, выдавшая виды карета.

За нею — боевым порядком — десяток пыльных всадников при оружии.

«Ты, батюшка, как в поход собрался», — кланяясь, встретила гостя тетенька.

Рыжий солдат, соскочив с лошади, помог гостю взойти на высокое крыльцо, что оказалось вовсе не лишним при деревянной ноге гостя. Кафтан короткий, лицо бритое, левая рука сухая. Алёша из комнаты услышал голос и по хриплому этому голосу представил гостя человеком крепким, бычачьего сложения, но оказался гость совсем не таким, зато взгляд прямой. Дворовые испуганно подглядывали за встречей. Вроде

навидались всякого: и немец, и кавалер Анри Давид, а тут еще одноногий да сухорукий. Назвался кригс-комиссар господин Благов, по имени Николай Николаевич, даже тетенька присела перед кригс-комиссаром на немецкий манер. Как-то скоро среди дворни распространились слухи о том, что господин Благов служил в свое время вместе с Алёшиным отцом, строил корабли в Воронеже, наказывал турков под Азовом, а теперь занимался ремонтом лошадей — пополнял и менял конский состав армии. С большими казенными суммами бывал на ярмарках, заодно присматривался к местным дворянским отпрыскам — не пора ли в службу. Прямо с крыльца махнул рукой солдатам, чтобы ставили лошадей. Стуча деревянной ногой, поднялся на крыльцо и вдруг изумленно откинул голову, увидев Алёшу.

Тетенька вспыхнула: «Неужто так похож?»

Кригс-комиссар, помолчав, кивнул: «Непристойно».

«Да что такого? У Зубовых зубы всегда вперед выдавались».

«Я не о зубах, — странно протянул гость. — Но точно похож, похож».

«Вот и говорю, вылитый Степан Михайлович», — охотно подтвердила тетенька.

Гость оглянулся, опять непонятно покачал головой, потом заперся с Марьей Никитишной в кабинете. О чем они там говорили, никто так и не узнал, но к обеду оба вышли серьезные. Пахло табаком: гость много трубку курил. Настойки и наливки на столе выставили семи видов, гость предпочел смородиновую, держался строго, ругал томилинские дороги, дескать, есть такие места, что хоть лодку зови.

«Да кому ж у нас по дождям ездить, батюшка? По зиме только и бывают гости, а летом-то кто? Варнаки? Ну, пусть тонут. В моем гнезде тихо».

«Еще видел я, матушка, что у тебя некоторые мужики по селу в длинном платье ходят, — указал гость. — В Москве такого увидят на улице, сразу ставят на колени, обрезают полы вровень с землей».

«Выходит, правду говорят о теперешнем несоблюдении старинных правил?»

«Старинные правила терпимы в вере, — ответил на это гость. — Все остальное можно и должно менять. Ты не слушай дураков, матушка, сама оглупеешь. Государь тянется к новому, но в вере благочестив, говеет тщательно, с покаянием, коленопреклонением, с многократным целованием земли».

«Говорят, простые плотники сидят с ним за одним столом».

«Ныне всяк может стать бóльшим».

«Даже губернатором?»

«Построй три корабля и проси».

Непонятно, смеялся гость или говорил всерьез.

Часто поглядывал на Алёшу, будто примерял что-то.

«Да где ж в нашем краю построишь корабль? И нужного дерева не найдешь, и умельцев нет, и по реке Кукуману никуда не выплывешь».

Гость сердито постучал по полу деревянной ногой.

«Жалобы были, матушка, что ты воров самовольно повесила».

«А разве они не самовольно творили? Я смерти Степана Михайловича никому не прощу. Запущенный недраный мужик всегда и везде опасен, а нынче у нас даже девки балуют, — почему-то грозно глянула на немца, кивнувшего смиренно, и так же грозно на замершего Алёшу. Кавалер Анри Давид за обеденным столом не присутствовал, и вопросов о нем не было. Алёша даже задумался: неужели тетенька на всякий случай и француза повесила? — Зачинщики свое получили, — вела свои резонеманы тетенька. — Теперь бы сочувствующих продать».

Кригс-комиссар раскурил трубку.

«Не торопись, не торопись, матушка, скоро пресекут это».

Тетенька испугалась: «Да что такое пресекут?»

«Такую вот продажу людей скопом».

«Да я по отдельности, самых ненадежных».

«А они к другим попадут, и у других начнутся разбои».

«А когда попустительство было к добру? — вздохнула Марья Никитишна. — Сам подумай. Дать мужикам волю, они косу да топор бросят, обленятся, все пожгут, чем будем кормиться?»

«Нынче не кормиться надо, а служить государю, — укорил гость. — Ты поберегись, матушка, поберегись. — Короткую трубку так и не выпустил из сильной правой руки, выложил на стол кисет с зельем, нет-нет искоса поглядывал на Алёшу, чему-то неведомому другим дивился. — Видел на столе у тебя куранты «Ведомости», это хороший знак. Это правильно, ты следи внимательно, что в столицах указывают к запрету. Несуны лесные, небось, у тебя не вывелись. Являются, наверное, и пророчицы, и проповедницы, разве нет? Ты запомни, что ныне даже полевые травы для лечения брать разрешается только через приказные руки, доведи это до всей дворни. Ножей с острыми концами при себе не носить, так приказано. Кожаные трубы иметь при каждой усадьбе на случай пожаров, и домы строить каменные».

«Где же столько камня найти?» — всплескивала руками тетенька.

«На столицу больше понадобилось, а нашли. В Петербурх в первое время ни телегу, ни человека не пускали с пустыми руками».

«Ох как трудно», — пожаловалась тетенька.

И обстоятельно обсказала гостю, как у нее у самой идут дела со спорными деревеньками.

«А ты была в губернии? Кто занимался этим?»

«Я специального француза из Москвы выписала».

Кригс-комиссар покачал головой. «Своего управляющего надо иметь. Такого, чтобы знал губернию, чтобы смыслил в земельных делах. Знаю в Москве одного стряпчего, тот еще крючок, могу посоветовать».

«Да чем он лучше?»

«Досконально знает законы и указы».

«Ну, батюшка! Разве в Париже не крючки сидят?»

«По прешпектам Парадиза навоз не валяется, а в Париже открыть окно — задохнешься от зараженного воздуха. Я там был. Там лавки кругом. В одной лавке — битая скотина, в другой дамы толкутся. Мухи летят от одной лавки к другой и обратно. Обо всем в Париже судят решительно, а дела не было и нет. И вообще француз, если пропитание имеет, даже убивать не пойдет, довольствуется обманом. Да что я рассказываю. Алёша вернется, сама расспросишь».

«Как вернется?» — растерялась тетенька. — «Откуда?»

Кригс-комиссар на это не сразу ответил. Только подумав объяснил, густо пуская дым из трубки, что француз он заберет с собой, что за ловким этим французом Анри Давидом некое дело тянется, он вдов обманывал в Москве. «И не поленись, — строго закончил, не отводя глаз от зардевшейся Марьи Никитишны, — сама повидай своего губернатора, вырази уважение, порастряси мясá. Губернатор мыслит широко, он тебя поймет. К примеру, попросит по десяти душ с крупных имений в войско, а ты дай на душу больше. Он самых умных ребят определит в учебу».

«Откуда взять столько умных, не грибы чай, — опустила глаза тетенька. Но не удержалась, повела взглядом на племянника. — Мой Алёшенька грамотен, к музыке прислушивается».

«Зачем музыка в таком отдалении от столиц?» — Кригс-комиссар Благов неодобрительно постучал по полу деревянной ногой. — Наверное, до сих пор у костра, как в древности, пляшете? Забыли, что от всего лишнего люди впадают в грех, начинают думать, что человека можно создать негрешного в Адаме. Вот государь истинно любит флейты и барабаны, это и есть музыка».

Помолчав, уставил взгляд на Алёшу.

«Хочешь служить?»

«Не знаю».

«Хорош недоросль, лежит под боком у доброй тетеньки. В усадьбе, — неодобрительно указал, — прокиснешь, как невостребованный масленок. Всякими непотребностями займешься, взгляд у тебя уже влажный. — Кригс-комиссар опять постучал под столом деревянной ногой. — Хочешь, подарю солдатский тесак?»

«Да зачем?» — испугалась Марья Никитишна. — Сам говоришь, не дозволено ныне носить при себе колющего».

«Лучше колющее носить, чем в деревне киснуть, — противоречиво ответил кригс-комиссар и не спускал, не спускал глаз с Алёши, чем-то он притягивал гостя. Вбирал длинное лицо Алёши, прямые волосы, лоб округлый. — Ныне выбор широкий есть, не как в старые времена».

«Да какой выбор?»

«Или ума набираться, или сваи на Неве бить».



Гость выпил еще настойки, особенно посмотрел на немца, и немец в ответ важно кивнул. За столом без кавалера Анри Давида герр Риккерт явно чувствовал себя увереннее. Алёша безмолвно следил за разговором. Такой голос, как у кригс-комиссара, в стороне надо держать — всех глушит. А Марья Никитишна сглаживает, сглаживает, все сглаживает, боится чего-то непонятного.

Вот указала на сухую руку гостя: «Где же тебя так?»

Гость постучал деревянной ногой об пол. «С турками под Азовом. Мы со Степаном Михайловичем, — с укором поглядел на Алёшу, — первыми лезли на каменную стену. Бог миловал, только горящим бревном ударило».

«А рука почему высохла?»

«Вот все тебе вынь да положи, матушка».

«А как иначе, — сказала Марья Никитишна. — Ты моего робенка хочешь в Парадиз забрать, а у него пока все свое имеется. И руки и ноги. Зачем молодому судьбу дразнить?»

«Потому и зову, что все пока у него при себе, да еще шпагу получит. А сумеет показать себя — государь поверстает новыми деревеньками и душами. У тебя полторы тысячи живых душ, а он все пять получит».

«А если увечье?»

«Об этом только Бог знает».

Добавил, выпустив сразу много дыма:

«Коль сложится судьба, наденет зеленую форму или синюю. Преображенский и Семёновский полки оба равно почетны. Золотые галуны, нагрудной знак, трехцветный шарф на поясе. Неужто всю жизнь ему при тебе сидеть?»

Немец внимательно слушал. И Алёша так же внимательно слушал.

А строгий гость стучал деревянной ногой об пол, сухую руку на стол облокотив, раскурив новую трубку. Потом крикнул денщика и передал Алёше подарок — большую рукописную книгу, выписки из Морского устава.

«Читай. Поедешь со мной в столицу».

## 19.

Гулять теперь выходили втроем — рябой Ипатич, с ним хромающий кригс-комиссар и Алёша. В отдалении ходили то два, то три солдата, их старались не замечать. Остальные были отправлены кригс-комиссаром в село к дерзкому соседу, недавно опять нападавшему на Зубовку.

Река течет, облака плывут, жизнь проходит.

Кригс-комиссар все приглядывался и приглядывался к Алёше.

«Вот написано в Морском уставе, что когда какой офицер дерзнет своего товарища бить руками или тростью на берегу, то как, хорошо разве?»

«Совсем нехорошо, — опускал глаза Алёша. — Повинен будет обидчик».

«И это правда». — Голос кригс-комиссара надежды обидчику не оставлял.

Все как бы далеко где-то. И корабли со снастями, и город каменный. А на некоем пустынном берегу нападает на Алёшу офицер с тростью. Крикнешь ему, за обиду, мол, уплатишь жалованье за полгода, а он смеется.

«А если кто в туманное время землю или мель увидит, как чинить особенный знак, чтобы адмирал с кораблем на землю не выехал?»

Спрашивал кригс-комиссар, а сам о своем думал.

И по хриплому голосу кригс-комиссара море представлялось Алёше непомерно большим, даже не понимал такой величины, страшился, все тянуло узнать, откуда столько воды накопилось в природе? Озеро Нижнее, например, покрывается зимой толстой коркой льда — это ничего, птицы все равно осенью улетают, а целое море замерзнет — куда девать корабли?

## 20.

Наконец привезли соседа, дважды зорившего Зубовку.

Среднего роста, почему-то в длинном платье, сказали, что заробел, на займке хоронился от солдат. При нем привезли стреляные ружья. Фамилия Кривоносов, таким он и был, не обозначаешь. Кригс-комиссар поставил Кривоносова в углу гостиной под строгим портретным взглядом Фёдора Никитича в свете чудесных жар-птиц — и Кривоносов сомлел. Хотел пасть в колени, солдаты удержали. А Марья Никитишна удивленно произнесла: «Да ты же совсем скот, Кривоносов» — и стала всматриваться в соседа. «У него душ триста, не более, — пояснила кригс-комиссару, — а ведет себя на тысячу. Повешу, наверное».

Кригс-комиссар господин Благов на такие слова ее не совсем одобрительно кивал, но некоторое время как бы не замечал Кривоносова.

«Пойдешь в школу математических и навигацких наук, — неторопливо пояснял Алёше. — Хватит бока отлеживать да босиком бегать. — Затянулся из короткой трубки, пыхнул веселым синеньким дымком. Ждал, наверное, что Кривоносов, прислушиваясь, придет в себя. — Государю не нужны дураки. Даже самых неграмотных обучат русскому языку и началу счета, потом отправят в службу писарями, а самых способных переведут в высшие классы. — Не глядя на сжавшегося Кривоносова, хрипло повысил голос: — Высшие классы у нас теперь — мореходные. Это не бедных вдов обижать. Это классы плоской и меркаторской навигации, морской астрономии. Научишься ведению шканечного журнала, числению пути корабля, фехтованию».

«Да где, батюшка, набрать столь умных ребят? — опять не выдержала вдова. — У нас одни Кривоносовы».

«У тебя, матушка, сколько душ?»

Ответила: «Более полутора тысяч».





«Неужто из такого числа ни одного умного?»

Посмотрел на Кривоносова: «А у тебя сколько?»

«Триста двадцать семь было, только умерли некоторые».

«Плохо следишь, если умирают».

«Да где за всеми уследить?»

Кривоносов кланялся, выражал крайнее смирение.

«Да врет он все, — не выдержала тетушка и заговорила одним предложением, как с ней случалось в волнении: — Как осень так к воровству мужиков и баб приспособливает с лукошками и мешками по чужим полям по ягодникам все знаю молчала мужики мои бьют почему не бить евоных если лезут как саранчуки думаю повесить надо для устрашения пусть висит Кривоносов на границе где от устья речушки до сухой березы наша земля а от сухой березы на болото и оттуда на взгорки до самых лисьих нор тоже наша пусть видят все кривоносовцы».

Кригс-комиссар Благов изумился. Смотрел то на Марью Ники-тишну, то на Алёшу. Что-то сбивало его с толку, особенно в Алёше, насупился.

«Мечтаешь о чем?»

Алёша в ответ покраснел, смутился.

С появлением кригс-комиссара музыка в голове почему-то стала реже звучать.

«Знаю, знаю твои мечты, можешь не отвечать. — Кригс-комиссар опять раскурил свою короткую трубку. Проницательно, все с тем же изумлением всматривался в Алёшино лицо. — Знаю, знаю. Мечтаешь быть большим баринном, ездить в немецкой карете. Она вся изнутри обшита черным бархатом или темными кожами не простыми, а тисненными золотом, так ведь мечтаешь? — Сам удивился столь ладной перспективе, вынул трубку из зубов, подумал, наверное, что Зубовым удобнее, чем ему, трубкой владеть: у них зубы вперед выставлены. — Книги старинные, может, хор. А мечтать надо о военном деле».

«Я же ничего не умею».

«Не жалея себя. Мы научим».

Выдохнул синий дым: «Чтение знаешь?»

«Он знает», — подтолкнула тетенька письмовник ближе к Алёше.

«Прочти. Только не торопись прочти», — приказал гость, сам открыв страницу.

«Приклады, како пишутся кумплементы разные, — ровно прочел Алёша. — То есть писания от потентатов к потентатам, поздравительные и сожалительные, и иные, также между сродников и приятелей... Одна страсть должна управлять пером... Жар, с которым начато письмо, должен быть чувствителен до самого конца, не уменьшаясь нисколько... Редко вырываются острые выражения, когда сердце истинно тронут и наполнено нежностью... Впрочем, надо истинно чувствовать страсть, чтоб уметь хорошо изобразить ее на бумаге...»

«Дурь, — удивленно произнес кригс-комиссар Благов. — Не читай больше».

И посоветовал: «Ты лучше Устав читай. Только в Уставе говорится о том, как жить истинно».

А тетеньке понравилось: вот какая красивая кумплементарная книга.

И совсем обрадовалась тетенька, когда кригс-комиссар наконец посмотрел на Кривоносова: «Отдать тебе его, матушка?»

«Христом Богом молю, не надо такого!» — пал в ноги сосед.

Кригс-комиссар пыхнул дымком. Теперь на всех смотрел сердито. Подумав, произнес: «Мы таких вот, — указал чубуком на Кривоносова, — скоро совсем выведем, матушка. Под корень вырубим. Может, и невинные падут при этом, что тут поделаешь. Исправлять лучше жесточью. Под корень ненужное истребим, а коли уж затернела земля, коли нельзя на ней сеять, огонь пустим. Всю застарелость огнем истребим, ты это запомни, матушка, и близким напоминай. У нас вера святая благочестивая, на весь свет славная, а люди часто никуда не годятся. Сыски неправы, дела неспоры, даже ты вот думаешь, как кормиться, вместо того чтобы служить. Сколько посылаю указов в города и деревеньки о недорослях и молодых дворянских детях, а многие молчат, думают, их из столиц не видно. Запомни: дважды напоминали, третьего напоминания не воспоследует».

«Неужто всех совсем выжгут?»

«Непременно. — И повел сухой рукой, указав на бледного Кривоносова, одновременно приказывая солдатам: — Высечь его у анбара. Сейчас же. А потом повезите за Нижние Пердуны и высекуте в собственной деревне, чтобы мужики видели и боялись. Чтобы видели, управа у государя на всех есть».

«А он отлежится, опять мне избы пожжет».

«Он не глухой. Он мои слова слышит. А коли совсем дурак, получишь право самолично сдать его в губернию и земли отнять».

И погрозил прокуренным пальцем:

«Сама не вешай».

## 21.

Вечерами кригс-комиссар располагался в гостиной, курил короткую трубку, пробовал настойки, особенно смородиновую, опять и опять с изумлением, даже со страхом тайным приглядывался к Алёше.

А самого Алёшу тревожило отсутствие музыки.

Вот ведь совсем недавно звенела в голове, а сейчас нет.

«Твой отец, — неторопливым хриплым голосом рассказывал кригс-комиссар, вглядываясь в Алёшу, — до настоящей службы тоже не видел моря. Повезли нас в Воронеж, там на реке строили корабли, а настоящее море увидели позже. Тогда почти не понимали, какая выгода государю с

того флота. Ну, постройт, а как держать флот на чужом море, где нет ни одной своей гавани? Успокоились только, когда государь сказал, что сильный флот сам найдет гавань».

Рассказывал, а Алёша понять не мог.

Да как это так? Вот повезут его в службу, а француза Анри так вообще уже отправили в губернию, а Ипатичу приказали готовиться взять жену, так что девка Матрёша в последнее время несколько раз тайком спрашивала Алёшу: «Барич, а барич? А кавалер Анри — он где сейчас?» Как бы случайно встречала Алёшу за избами, подходила, целовала руки, совсем забыла про поротый зад. Алёшу как огнем изнутри жгло. Француз давно выбросил из головы, а читанные им слова — нет. «Вся кипящая похоть в лице его зрилась; как уголь горящий все оно краснело». Никак не мог забыть. «Руки ей давил, щупал и все тело». А Матрёша спрашивала: «Барич, а барич? А кавалер Анри где сейчас?» Наверное, сошли с нее синяки, поротая кожа восстановилась. Как в забытьи вспоминал белые неясные пятна, виделась ускользающая туманная синь, тонкость кожи, след кнута, тетенькины слова: «Поправит задницу, выдам за Ипатича».

И хор благостный звучал надо всем, как облака над полями.

И кригс-комиссар господин Благов дымил, как стопушечный корабль.

«Кто Пресвятую Матерь Божью и святых и предания и уставы святые ругательными словами поносить будет — отдать под телесное наказание или совсем живота лишит по силе хуления». Голос хриплый, сильный. Говорил, время от времени постукивал деревянной ногой по полу. Вот государь у турок отнял целых два моря, говорил, ему мало, теперь он другие хочет. Теперь он Балтику хочет. И пуще всего ему мастера нужны. Всякие. Молодые, способные. Они есть, есть, но сокрыты от глаз государя в отдаленных своих Пердунах Нижних и Верхних. Валяются на печках да на полатях, ничего доброго не знают, не понимают, а немцев на все выписывать — денег не напасешься. У своих нет опыта и желания, у чужих — жадность. Государь сам показывает пример — и топором, и теслом, и конопаткой, и молотом, но для великих дел государевых множество мастеров нужно. Окончательно решил: «Отправим Алёшу в другую страну учиться».

«Да как в другую? — пугалась тетенька. — Он же у нас болезный».

«Зачем это все болезные», — стучал ногой кригс-комиссар.

«Пусть еще поживет при мне. Здоровье накопим».

«Поедет со мной, вырастет кавалером».

«А если убьют?»

«Это только Господу ведомо».

«Или ранят в руку, в ногу, везде».

«С деревеньками в отставке и с одной ногой справится».

«Зачем говоришь такое? Ну, годик еще. Я Кривоносова боюсь».

«Не ври, никого ты не боишься, матушка, иначе не вешала бы варнаков. Алёше давно пора на свободу в мастера. Хватит ему твоей деревни. Курс пристойных благородному дворянину наук пройдёт».

«Да что такого в науках? Ты в глаза немцу посмотри, ничего там хорошего, одни цифры».

«В Томилине твой Алёша сомлеет, из него живой дух уйдёт. — Вдруг заговорил почти как француз. — Вот хожу по твоему селу, везде глухо, лужи. Говорят, в грязи какая-то чушка утонула, поскотина в некоторых местах повалилась, а девки вместо работы как чайки за речкой переключаются».

«А ты, батюшка, не любишь птиц?»

«Чайки утоплым матрозам в воде глаза выклеивают».

«Тыфу на тебя!» — сердилась тетенька, но привыкала, привыкала к ужасной мысли. И наступил такой день: сама вызвала Алёшу в кабинет, протянула руки для поцелуя и с особенным умилением разрешила: «Поедешь служить».

И добавила негромко: «Дядька Ипатич всегда при тебе будет».

И добавила: «Коли вернетесь живы, Матрёшу выдам за дядьку, а пока пожалую ей десять ефимков на булавки».

И вдруг к Алёше вернулась музыка.

Сперва чуть слышно, как порхание бабочек.

А потом легко, легко пошла, как кобыла через знакомый брод.

Все как бы сразу сдвинулось с застоявшегося. И дождь за окном показался нежным.

*(Окончание следует.)*



Любовь КОЛЕСНИК

## ГРОЗЫ ЗА ПРЕДЕЛОМ

\* \* \*

Ни этот высокочастотный  
звук заунывный заводской,  
ни светло-серый облак плотный,  
летающий над моей башкой,  
ни ночь, ни улица, ни все, что  
по пьяни видел бедный Блок,  
отобразить не может точно  
наш молчаливый диалог.  
Но ты, на час доверив шагу  
тверские синие края,  
садишься с ручкой за бумагу.  
И я.

\* \* \*

Все нормально. Мир живет и может.  
Водка есть. Войны пока что нет.  
Повариха добрая положит  
заводских печеночных котлет.  
Не жалея к ним плеснет подливки.  
Я залипну в вымытом окне,  
думая, как просто быть счастливой  
и как трудно быть счастливой — мне.  
Все нормально. Ветер воет в ветках.  
Ровно в пять я выйду с проходной.  
Будет сон —  
пока что на таблетках,  
но не будет мыслей: «Что со мной?»  
Не жалею, не зову, не каюсь,  
дни идут, размеренно-темны.  
Все нормально. Я жива. Я справлюсь.  
Главное — чтоб не было войны.

\* \* \*

Друг друга выжгли до костей  
и драли счастье с потрохами,  
пилили мебель и детей  
и пахли жжеными стихами.  
Ласкались пальцами в золе,  
губами горькими спекались,  
найти пытались путь во мгле,  
и находили, и сбивались,  
и сбились вовсе. Вот черта.  
То, что за ней, осталось снами.  
Смотри, какая пустота,  
какая смерть, смотри, меж нами.

\* \* \*

Заснуть с распахнутым окном  
и слушать грозы за пределом.  
Зарницы полыхают белым,  
глазницы заплывают сном,  
вода окатывает жечь.  
Мне странно думать, что ты есть.  
Мне странно думать, *что* ты есть...  
Заснуть.  
Не помнить.  
Не касаться.  
Мы — два зачеркнутых абзаца,  
их не допишет никогда  
Тот, кто нас выдумал и начал.  
Все хорошо.  
Я сплю,  
не плачу.  
Гроза.  
Зарницы.  
Ночь.  
Вода.

Николай ОЛЬКОВ

## СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

*Сказ об Иване Ермакове*

П о в е с т ь

*Жил как праздновал...*

Николай Денисов

### 1.

Позолоченным юным березняком и серебром ковыля отходящего лета украшена деревня Михайловка. Ванька любит смотреть на эту красоту со стороны центрального поселка, откуда видны избушки и домики, поросшая линияющим конотопом улица, по которой реденько пробегают телеги или дроги...

Иван часто бегал в центральный поселок имени Челюскинцев, который так строго никто не звал, а были просто Марковичи, потому что рядом протекала маленькая речушка с таким именем. Ванька все рвался дознаться, откуда такое название — Марковичи, но старики на дотошные вопросы пожимали плечами, только дед Федот, веселый и донельзя ехидный старик, подзывал и на ушко, но громко:

— Ванюшка, про Марковичи ничего не скажу, а вот отчего Устинку Рыжую Старшиной зовут, рассказать могу.

Кто-то из взрослых и серьезных мужиков одергивал:

— Федот, побойся Бога, ребенку...

Федот махал рукой:

— Ты слышал, партия сказала, что Бога нет и стыд долой? Ладно, Ванюшка, я тебе другое поведаю.

И скрипучим своим голосом рассказывал, какие приключались в деревне события. Особенно Ивану нравилось, как попа привозили, чтобы изгнать нечистую силу из болота и ближнего леса, потому что скотина никак не хотела туда идти пастись и уже на всей околице траву в пол вбила, ущипнуть нечего.

— Попа обрядили, раздули его дымарь и повели к болоту. Три добрых мужика хоть и верующие, однако дробовики с собой взяли и держа-

ли в положении «К атаке товьсь!». Только подошли к болотцу, взвозгудал священник, а дьякон ему в подголосок жгучим тенором подмогнул, вышла из травы старая волчица с выводком.

Мужики вроде ружья подняли, однако священник воскликнул: «Остановите свое зло и не волнуйте природу. Сама пришла — сама и уйдет!» И давай молитву читать, на колени стал, хоть и вода выжимается из-под ног. Волчица послушала немножко и шумнула своим ребятишкам, чтобы за ней следовали. Увела, и тихо стало, и коровки мирно пасутся, и пастух подремать может на солнышке. Слыхал ты, Ванька, про такое?

— Нет, дядя Федот, не доводилось.

— А диво стало оттого, что стрелять перестали, нечем да и незачем, мясо во дворе ходит. Вот волчица и облюбовала болотце, устроила там логово, ребятишек родила. А тут человек. Ладно, Ваня, ты приходи, я хоть и матерщинник, но историй доподлинных расскажу тебе столько, что всю жизнь будешь пересказывать!

Ваньке, а проще сказать — Ермаку, как зовет его ребятня да и взрослые порой, доводя прозвище до ласкового: Ермачонок, стукнуло десять, нынче пойдет в четвертый класс.

Сам себе удивляется: школу не любит, потому что вольный, не любит подчиняться правилам и распорядкам, но на уроки ходит с интересом: каждый раз что-нибудь расскажет учитель. Арифметику с чистописанием ненавидит, но пережидает, когда закончится тема и учительница Алёна Николаевна расскажет что-нибудь интересное. Она не деревенская, потому сколько всего знает — никто в деревне сравниться не может. Она дает Ване журналы и книжки и даже позволяет самому рыться в большом шкафу, запираемом на маленький висячий замочек. Перед каникулами он пришел с большим мешком: Алёна Николаевна уезжает в отпуск в свой город, а без нее в шкаф не попасть, вот и решил набрать на все лето.

Хотя знал, что для чтения придется время выкраивать, колхозный бригадир будет гонять на прополку, потом веники вязать для овец, потом копны возить на сенокосе, а осенью снопы возить на гумно, на складе работу найдут. Ваньша Ермаков не упирался, шел куда велят, потому что за невыход мамке с отцом могли трудодни срезать.

Домой принес, пристроил на этажерке журналы с красивыми картинками: «Огонек», «Вокруг света», «Знание — сила», «Журнал для всех». Книжки сложил отдельной стопкой. Отец не одобрял увлечения сына: загорится у него в душе, а куда потом с наших достатков? Лучше бы к лошадям шел. Ванька взял кусок хлеба, несколько перышков лука со стола и подался на подызбицу, здесь тихо, все в тенетах, потому мух нет, а то бы забедили. Тут у него все оборудовано: старая дедовская шубейка, фуфайка в головах, свет в раскрытую дверцу. В журналах кроме ученых статей много интересных историй описано.



Оказывается, в дальних странах живут народы, которые не имеют совести, ходят голышом, вот даже фотокарточки припечатаны. Но у них свои правила: все делится поровну. Убили зверя, мясо над костром поджарили, главный на куски режет и на широкие листья какого-то баобаба бросает, каждый берет и ест. Потом рыбу ловили и тоже делили на всех. Ваньша улыбнулся: добрый, должно быть, народ, вот у нас этого не заведено. У Дробахина дом по-круглому, железом крыт, скота полный двор, понятно, что мясо не выедается. А иные живут на картошке и хлебе, если уродит. В другом журнале прочитал про человека, который в бочке спустился по Ниагарскому водопаду и остался живой. Ну, про водопад этот Ваньша и раньше читал, а тут картинка: вода с огромной высоты летит в пенистую пучину. Видел ли мужик, куда его отправляют? Или заплатили большие деньги? У капиталистов так, о чем бы ни шел разговор — деньги вперед.

В деревне создали колхоз, два вечера зимой до полуночи сидели мужики в школе, упирались: от добра добра не ищут, своя пашня, свой покос, своя скотинка во дворе, и все это свести на общий двор, надо и сена привезти пару возов, а то чем кормить? Самое главное не могли понять мужики: зачем все это? Чем худо живется? Налог, какой положено для государства, отдаем.

Дедушка Михаил Тихонович ворчал на сына:

— Михайло, не вздумай записаться, я на старости лет под общее одеяло спать не лягу.

Отец отмалчивался, перечить старшему нельзя, а как перечить советской власти? Многие пытались, в двадцать первом какую бучу подняли, а на ту же задницу и сели. Кого в снегах не убили, того в болотах словили, а года два назад последних подобрали, и ни слуху ни духу. Вот и получается, плачь, но иди.

Первого сентября вся школа выкатилась на линейку. Ермаков подошел с друзьями, Федька толкнул в бок:

— Ермак, хохлы понаехали.

— Откуда?

— Из Вакариной.

— А чего это их к нам прибило?

— Не знаю, говорят, они в Копотиловой учились, так весной волки чуть не съели. Вот их и перевели.

— Интересно, — рассудил Ваньша. — А ведь у нас тоже волки есть.

— Слышь, Ермак, надо хохлов перво-наперво поколотить, чтобы знали, кто здесь хозяин.

— Выкинь из головы, за что их бить? Да и худые они все.

Сердитый голос директора расставил все по местам:

— Ермаков, строй свою команду, начинаем.

Пока говорили речи и носили взад-вперед красный флаг, Ваньша думал о своем. Вчера вечером поставил сети на озерке, а утром мать под-



няла корову подоить и в стадо отправить. А в сетях, поди, рыбы — в каждой ячее. Недаром он вплавь к камышам добирался, едва в сетке не запутался, но все-таки снасть установил. Теперь надо бы как-то незаметно скрыться, а то загонят в класс и будут два часа воспитывать, кто чем летом занимался. За Ермаком много чего числится, в основном по части огурешников. Дома огурцы с гряды свешиваются — нет, надо непременно в чужой огород забраться и хоть с половины гряды обобрать огурцы и тут же сложить. Баловство, конечно, но чем вечером заняться? Говорят, колхоз клуб обещал построить, только когда это будет? «Когда рак на горе свистнет» — это Федька так сказал про клуб. Наверно, так и будет, хотя ни раков, ни горы у нас нет. И клуба не будет.

А о клубе Ваньша мечтал. Он бы стал там стихи читать, например Некрасова, а лучше Есенина, в каком-то старом журнале его стихи про деревню — сердце захватывает. Или организовал бы постановку, да не по пиесе какой-то, а сам придумал бы. Дед Федот ему много удивительных историй рассказал, половину можно разыграть в ролях.

Звонок заставил вздрогнуть. Ваньша давно к нему присматривался, знать, на доброй тройке под дугой висел этот колокольчик: большой, блестящий, и звук громкий, призывный. Не ехал ли Чехов на свой Сахалин под таким колокольчиком? Мог бы, хотя он через Ишим, но и там наши ямщики могли быть. А может, гнали в глубь Сибири колодников и он под дугой на старой конвойной кляче помогал им: «Динь-бом, динь-бом!»

Колоннами стали заходить в классы, Ермак перемахнул через ограду и скрылся в кустах черемухи. Быстро переоделся — и на озеро. Одежку скинул, сначала пошел, потом поплыл к дальней тычке, выдернул, аккуратно подплыл ко второй. Одной рукой грести неловко, да и сетка из ниток, намокла, тяжелая. Когда на ноги встал, полегче. Выволок на траву, тряхнул сеть, вместе с травой выпали караси — большие, желтые, плавники ярко-красные. Сложил крупных в мешок, а мелочь легонько покидал в озеро: «Пусть растут!»

Рыбу и сетку принес домой, сеть развесил сушиться, а рыбу спустил в погреб. Надо в школу сбегать, узнать, что там на завтра. На полдороге встретил кучку новеньких из Вакариной, помятые, с синяками и ссадинами. Один, худой и белобрысый, перегнулся через прясло, кровь капает из носа. Увидел своих, стоят, Ермака побаиваются. Он махнул рукой, чтобы шли сюда. Подошли, поулыбываются.

Ермак было замахнулся, но никого не ударил:

— Сказал же еще утрось: не трогать, дразнить тоже нечем, они хоть и хохлы, но наши.

Подошел к мальчишке, который наклонился у плетня и пережидал кровь, капающую из разбитого носа:

— Ты откинись на спину, скорей присохнет. Как зовут?

— Васька.



— А я Ванька, Ермаков фамилия. Полежи. — Сам присел рядом на корточки. — Скажи своим, что больше никто не тронет, наши вообще-то не драчливые, видно, нынешним днем на солнце пятна.

— Кто на солнце? — переспросил Васька.

— Возмущение в природе, я читал, пишут, что на психику действует, дураком человек делается.

Васька приподнялся на локоток:

— Ермак, который на диком берегу, тебе не сродственник?

Иван небрежно пожал плечами:

— В своих, должно быть, фамиль так просто не образуется. Твоя какая фамилия?

— Кньш.

— Это по-каковски?

— А я знаю?

— У бати спроби. А вообще-то надо бы в книгах поискать, есть такие, в которых каждое слово разъямачено. Ну, ладно, нос присох, пошли. Ты где на квартире стоишь?

— У бабки Алферихи.

— В соседях будешь, только с бабкой тебе не повезло — ведьма. Я к ней в огуречник нынче залез, а она с дрыном поджидала, исполосовала мне спину, до тех пор драла, пока через плетень не перескочил. — Ваня весело засмеялся. — А дома мать добавила — со всех сторон бедному Ваньке прибыль!

## 2.

В седьмом классе Иван увлекся куклами, вычитал в каком-то журнале, что есть специальные кукольные театры. Кроил и шил куклы сказочных героев, богатырей, чертей и всякой всячины. Учился мастерить внутри такой механизм, чтобы руки и ноги могли двигаться. Большого достичь не сумел. Хотел организовать в школе кукольный кружок, но постеснялся: здоровый, скажут, парень, а в куклы играет...

Учительница русского языка и литературы Вера Алексеевна после экзаменов посоветовала:

— Ваня, поступай в педагогическое училище, я тебе рекомендацию напишу, меня там помнят.

— Нет, — решительно отказался Ермаков. — Спасибо, но учителем мне не бывать, характер не допускает.

За лето заработал немного денег: кому огород протяпал, кому изгородь поправил, сено в стога метал, и просил заплатить хоть сколько, только деньгами.

Вера Алексеевна еще раз встретила:

— Что решил, Ваня?

Иван мнется, не хочет говорить про кукольный театр: узнал, что в Омске есть такой.



— Поедешь в Омск? Я догадываюсь. Ваня, возьми.

Подала свернутый тетрадный лист, быстро пошла по улице. Иван развернул: деньги. И записка: «Это тебе на первое время. Уверена, что ты найдешь свою дорогу в жизни. Прими от души. В. А.»

Стало стыдно, но догонять учительницу и возвращать деньги — не очень красиво. «Ладно, я ей с первой полочки вышлю», — успокоил себя Иван.

Когда за ужином сказал, что завтра едет в Омск, отец спросил:

— Кто тебя там ждет? И что робить будешь, если ни к чему не способен?

— Отчего это он не способен? — возмутилась мама Нина Михайловна. — Не дурак, учиться поступит. Иди в железнодорожное, Ваня, там кормят и форму дают.

— На что поедешь? И жить первое время как? — Михаил Михайлович достал со шкафчика корочки от книжки: Иван знал, что там хранятся все семейные деньги. Отец посмотрел, свернул несколько бумажек, подал сыну: — Если что неладно — сразу домой, не болтайся, а то жулики подберут, научат варначить.

Поезд пришел утром. Иван расспросил, как найти кукольный театр, пошел прямо к директору. На двери прочитал: «Евгений Дмитриевич Аша-Парфеньев».

— Хочу работать в театре. Мне нравятся куклы, они, как люди, все могут показать и рассказать.

— Это замечательно, молодой человек, но работе в театре, даже самой простой, надо учиться.

— Я готов. Мне бы только место для жилья, а учиться я буду.

Директор с улыбкой постучал в стенку:

— Ольга Ильинична, зайдите ко мне.

Вошла красивая дама в длинном ситцевом платье.

— Молодой человек желает у нас работать. Как ваше имя?

— Ермаков Иван Михайлович.

Директор церемонно представил даму:

— Актриса Зикунова Ольга Ильинична. Думаю, она возьмет над вами шефство. Ольга Ильинична, в комнатке при кукольной кладовке никого нет? Проводите его туда. Да, молодой человек, оставьте паспорт.

— Нету паспорта, я же из деревни. Справка из сельсовета и метрика. И свидетельство о семилетке.

В обед началась репетиция. Иван удивлялся, как это кукла и ходит, и руками двигает, и голову поворачивает.

В перерыве подошел к молодому человеку:

— Тебя как зовут?

— Андрей.

— Долго надо учиться, чтобы куклой управлять?



— А у тебя пальцы гибкие?

Иван показал широкие натруженные ладони.

— Да, брат, с пальчиками у тебя не особенно. Но учиться будешь — привыкнешь.

Иван пошел в кладовую, попросил самую простую куклу. Внимательно осмотрел нутро, прикинул, куда какой палец вставить, начал проговаривать. Все невпопад. Значит, надо четко чувствовать, какой палец чем управляет. К вечеру он вертел куклу купца как хотел. На ночь попросил другую. Ему дали волка. Иван понял, что тут посложней, похоже, надо обеими руками работать.

В каморку заглянул директор:

— Иван, ты куришь? Нет? Хорошо. Я не хочу, чтобы завтра утром мне пришлось оплакивать твой пепел. И чем ты собираешься ужинать? Иди и скажи сторожу, что добежишь до магазина, там продают пирожки, а у сторожа есть электроплитка. До свидания.

Уже через неделю Иван начал репетировать спектакль «Каштанка» с куклами из московского театра Сергея Образцова. Режиссер, нервный и суетливый человек, останавливал и просил Ивана еще раз показать эту сцену. Дело продвигалось, тем более что режиссеру нравилось умение молодого человека имитировать любые голоса и звуки.

После утренней репетиции Ивана пригласили к директору.

— Вот что, молодой человек, в областном драмтеатре открывается студия для таких, как вы, талантливых, возможно гениальных, но ничего пока не умеющих. Я договорился, вас записали, и сегодня первое занятие.

— Евгений Дмитриевич, а как же спектакль, репетиции?

— Будете репетировать. Как только режиссер даст добро, будем вводить вас в спектакль. Одно другому не должно мешать. И на репетициях приглядывайтесь к Анисье Иосифовне Шейна, очень талантливая актриса.

В каморке возле кукол ему было тепло и уютно, утром со сторожем пили чай, в обед бегал в ближайшую столовку, ел суп и хлеб, к вечеру покупал пирожки с ливером. Женщины приносили домашнюю стряпню и даже котлеты.

«Ничего, Ванька, — внушал себе Ермаков. — Будешь артистом, аттестуют, ставку повысят, директор комнату обещал пробить в общежитии какого-то завода».

В свободное время любил уходить на берег Иртыша, его, ни разу не видевшего большую реку, завораживало стремительное течение воды, жутковатые воронки, большие накаты ленивых волн, исходящие от парходов. Он не знал тогда, что еще встретится с Иртышом, и поплывет по его водам, и напишет «Сказание о Реке и ее Капитане», и будет там строка, которую сегодня еще не умеет сформулировать молодой паренек: «Куда течешь, Реченька?» — «В Великое Завтра, мой Капитан, в страну Могущества Русского».

Черным днем стал тот четверг, когда сторож нашел его и подал письмо из дома. Мать в первых строках не спрашивала, как поживает сынок в далеких краях, а писала, что отец шибко занемог, нет хозяина в доме, потому Иван должен бросить свой театр и вернуться. Иван ушел в свою каморку и еще раз перечитал письмо. Мать не стала бы срывать его с места, если была бы возможность обойтись без него. Пошел к директору театра, показал письмо.

Евгений Дмитриевич горестно покачал головой:

— Весьма жаль, молодой человек, весьма. Я говорил с Рыбьяковским, руководителем студии драмтеатра, он очень высокого мнения о вас, хоть вы еще слишком молоды. В вас талант актера безусловно. Что ж, дом есть дом, ничего не поделаешь, надо ехать. Но я вас прошу: как только все уладится — возвращайтесь, мы вас с удовольствием примем.

При прощании с коллективом Ольга Ильинична полушутя сказала:

— А какого мужчину мы бы из него могли вырастить. До свидания, Ванюша! — И при всех крепко поцеловала его в губы.

Дома от тоски по театру спасала работа и стихи. Стихи случились сами собой: книги, одиночество, воспоминания. Все-таки в Омске были не только репетиции. Была грусть. Для шестнадцатилетнего парня с закрытой от других душой выход был только в поэзии. Он сочинял частушки для самодеятельности, стихотворные поздравления передовикам социалистического соревнования, стахановцам.

О войне узнал из громкоговорителя на столбе у совхозной конторы. Оцепеневшая деревня притихла и ждала еще чего-то. Все понимающие старухи заводили большую квашню и торопили жен. Мужики дометывали сено и ждали повестки. Их привезли на другой день. Призывались те, кто только что вернулся со срочной службы, у кого еще солдатские мозоли не заменились крестьянскими, кто помнил строевые песни и слова присяги. А еще вспоминались комиссары-политработники, неистошимые оптимисты: «Если враг нападет на нашу страну, Красная армия под руководством товарища Сталина не даст ни пяди своей земли и будет добивать врага в его же логове!»

Первая отправка больше походила на похороны. Плакали женщины, родные и совсем посторонние, плакали дети, потому что отец, на их веку не бывавший дальше деревни, уезжал незнамо куда. Иван всматривался в лица своих земляков — не узнать: повзрослели парни, постарели родители, загрустили девчонки.

Новости из громкоговорителя, передаваемые грустными, даже скорбными голосами, перечисляли оставленные города. Враг у Москвы. Ленинград под угрозой блокады. Иван пишет стихи о подвигах советских солдат, шлет эти письма своим старшим землякам, печатает в стенной газете. Наконец насмелился и отправил письмо в редакцию районной газеты. Стихотворение опубликовали.

## Награда

Тускло светят бездной  
 На груди арийца  
 Два креста железных —  
 Символы убийцы.

Первый добыл в Польше,  
 В Греции второй,  
 Но он хочет больше  
 И идет «герой»,

Вверх задравши рыло,  
 Третий добывать  
 В СССР. Полмира  
 В десять дней забрать!

Убивать и грабить  
 Прет на Ленинград,  
 Но свинцовым градом  
 Встретим тебя, гад!

Лезет сын свинячий  
 В сумраке нетрезвом,  
 Перед ним маячит  
 Третий крест железный.

Получил в награду  
 В зареве багряном  
 Возле Ленинграда  
 Третий — деревянный.

На вечере, посвященном двадцать четвертой годовщине со дня рождения Красной армии, Иван Ермаков читал эти стихи со сцены своего михайловского клуба, потом его позвали в совхозный клуб, и там зал аплодировал автору и исполнителю и каждый мог думать, что это его сын, его отец остановил проклятого врага.

Редакция требует новых стихов, и Ермаков публикует стихотворение о девушке-санитарке, об одной такой он услышал по радио.

### Девушка — подруга фронтовая

Рвутся в страшном грохоте снаряды,  
 Мчатся пули, дико завывая.  
 Ждет врага, зажав в руке гранату,  
 Девушка — подруга фронтовая.

Стиснув зубы, напружинив нервы,  
Серые глаза не отрывая,  
Тихо ждет коричневую стерву  
Девушка — подруга фронтовая.

Ближе... Ближе... С челюстью массивной,  
Ненавистой свастикой сверкая,  
Выполняя план оперативный,  
Двигается дружина «боевая».

Водкою разит от пьяной рати,  
Это «дух арийский боевой».  
Взмах руки. И брошена граната  
Девушкой — подругой фронтовой.

Сколько гнева, ненависти, страсти  
Ты вложила, девушка, в бросок.  
Схоронила сброд ты разномастный  
В свежевыврытый речной песок.

Эти руки, что гранаты мечут  
По врагу в огне святой войны,  
Эти руки другу раны лечат,  
Эти руки нежностью полны.

Перевязку сделают без боли,  
Ласка и тепло от них несется.  
И при виде милой, нежной Оли  
Раненый товарищ улыбнется.

Но начнется бой и рев снарядов,  
И помчатся пули, завывая, —  
Будет снова ждать врага с гранатой  
Девушка — подруга фронтовая.

### 3.

Летом 1942 года Ермаков получил повестку явиться в военкомат с вещами и трехдневным запасом питания. Поехали на восток, даже слушок прошел, что охранять Страну Советов от японцев. Но в Омске дали команду выйти из вагонов и построиться. Пешим порядком повели по городу. Иван заметил, что люди останавливаются и взглядами провожают нечеткий строй. Каждый видел через них своего, родного и каждый — верующий и не очень — молча благословлял этих ребят. Никто тогда не знал, что из этого года призыва в живых останутся двое из десяти.





Ермаков зачисляется курсантом Второго Омского военно-пехотного училища. Курс обучения — ускоренный. Это значит, что, кроме сна и приема пищи, — все время только учебе и учениям. На общем построении начальник училища полковник Киселёв, уже хлебнувший войны и направленный после ранения воспитывать молодых офицеров, сказал:

— Товарищи курсанты! Вы будете учиться не просто кричать «ура!», для этого есть другие учебные заведения, вы должны научиться понимать солдата, простого русского мужика, которого оторвали от сохи, от станка и вложили в руки винтовку. Солдат делает победу, а командир виноват в поражении. Запомните это, сынки, с первого дня.

Почти полгода напряженной учебы: занятия тактикой, работа с топографическими картами... Ежедневные пешие переходы, зимой — ходьба на лыжах. Иван все воспринимает как должное, в редких письмах не жалуется, да и кому? Отца и брата тоже призвали, мать осталась одна. После Нового года начались экзамены, спрос жесткий: все выдержал — лейтенант, слабоват — младший лейтенант.

Курсант Ермаков получил на петлицы два «кубаря» — лейтенант. Красоваться некогда, вечером пешим порядком на разъезд, куда подадут воинский эшелон, погрузка, размещение в общих вагонах. Хотелось повидаться с матерью, но кто повезет ее в Ишим, да и остановится ли эшелон на станции, не та обстановка на фронтах, чтобы прогулки по перрону устраивать. Иван на верхней полке записывает в толстую тетрадку стихи, которые в училище сочинялись на ходу. Поглядывает в окно: Мангут, Маслянка, скоро Ишим. Поезд сбавляет ход. Значит, будет стоянка. Надел бушлат, шапку, выскочил из вагона и носом к носу столкнулся с земляком, Захаром Прокопьевичем. Он в годах, призыву не подлежит.

— Ваньша! А я думал, ты на театр уехал, — пошутил земляк.

— На театр и еду, видишь, досталась мне по жизни роль Ваньки-взводного. Говори, как деревня.

— Худо, Ваня, на деревне. Жить нечем, все отдаем фронту, если не отдал — отберут, да еще и оштрафуют. Пожрать — одна картошка, если коровки нет — погибель, особенно среди детишек. Мрут малые-то.

— Мать моя как?

— Да как и все, робит с утра до вечера. Ладно, она женщина бойкая на язык, дак не дает бабам с ума сойти. Нина Михайловна молодец.

Раздалась команда: «По вагонам!», Иван обнял Захара Прокопьевича как родного:

— Поклоны всем передавай... Сам-то по какому случаю тут?

— Да вот... Мясa чуток сам у себя украл, здесь по кусочку продаю. Налог-то в деньгах надо, а не в слезах. Воюй и живым вертайся, нам в деревне живые мужики нужны, уж больно похоронки густо идут.

Последние слова Иван едва слышал за свистом паровоза и звоном вагонных сцепок. Он опять запрыгнул на верхнюю полку. После прогулки ребята оживились, пошли анекдоты, озорные рассказы.

Иван записал в тетрадке: «Солдатские нескучалки» — само слово придумалось, а потом будет книжка с таким названием, но до этого надо еще дожить... Повело воинский эшелон через Вологду, Череповец, Тихвин...

На участке, куда пешком и попутным транспортом добрался лейтенант Ермаков, — затишье, как будто и нет войны. В батальоне дали сопровождающего, и пошел лейтенант принимать взвод, где недавно убило командира.

Старшина начальство увидел — и:

— Взвод, становись!

Штабной представил нового взводного. Лейтенант Ермаков сказал, что он сибиряк, только что с курсов, войны не видел, и добавил сурово, что, мол, будем учиться по обстановке. Взвод в составе роты выдвинулся к переднему краю, старые вояки понимали, что скоро будет атака.

— Товарищ командир, а впереди что?

Ермаков глянул на карту еще раз, как будто там что-то могло измениться:

— Населенный пункт...

— Брать будем?

— Скомандуют — возьмем.

— Артподготовка хоть будет для смелости?

— Не могу знать.

С тыловых позиций несколько орудий сделали по три выстрела.

Ротный встал в полный рост:

— За Родину!

Бойцы нехотя поднялись, но от деревни ударили минометы. Мины легли чуть впереди, первая цепь замерла, и Ермаков крикнул:

— Вперед, не дайте им пристреляться!

Солдаты, пригнувшись, бежали, минометы ударили еще раз, с перелетом. «Правильно сделал, лейтенант», — похвалил сам себя Ермаков. Первая цепь открыла стрельбу, и только потом выяснилось, что три миномета оставили для прикрытия, основные силы отступили раньше — вот и палил взвод вдогонку резво убегающим минометчикам.

Ермаков с удивлением наблюдал, что воинскую работу мужики исполняют как любую другую. Например, отправил бы бригадир колхозника Шемякина за сеном на луг на паре лошадей — он точно так же сначала сел бы на табуретку, снял пимы и навернул по-свежему портянки, потуже затянул ремень на бушлате, развязал вязки на ушанке и распустил шапку, прикрыв уши, потом похлопал бы рукавицами и пошел: там — лошадей запрягать, тут — в боевое охранение, потому как оставлять роту без присмотра нельзя. Говорят, у соседей разведка немецкая со стороны болота прошла и ночью вырезала полвзвода, пока шум не поднялся — а потом еще нескольких положили, кто спросонья, и исчезли. Поговаривают, что ротный и трибунала дожидаться не стал, застрелился.

Как понял Ермаков со слов начштаба батальона, задача у части простая: не наступать, пока не проломают блокаду Ленинграда, но и пропустить противника далее нельзя. «Как псы сторожевые на привязи», — проворчал один из командиров, но слов его, к счастью, не услышал никто из комсостава повыше, а то бы крепко нагорело лейтенанту.

Подошел к Ивану казах Тасмухаметов:

— Товарищ командир, сидим в болоте, на кочках спим, как курицы на седале, а вон тот сосняк видите? Сосна растет на песке. Наш аул в лесу стоял, мы колхозный скот пасли, а рядом сосновый бор, люди туда за грибами приходили.

— Суть говори, Тасмухаметов.

— Казахи грибы не едят, им мясо надо. Так те сосны в песке, целый метр надо копать. Мы хотели там мусульманское кладбище сделать — сельсовет не разрешил.

— Понял тебя, Тасмухаметов. Спасибо.

И пошел к ротному:

— Разрешите взвод передислоцировать в сосняк, там место повыше, можно хоть чуток в землю зарыться. Испростыли мужики.

— Не боишься, что сосны — хороший ориентир при артобстреле?

— Мы все тут — неплохой ориентир, — огрызнулся Ермаков, но согласие получил. По темноте перетащились — правда место высокое, песок, стали копать землянки. Спилили несколько деревьев, обустроились.

Утром начался артобстрел.

— Дальняя артиллерия бьет, калибр крупный. Думают, что у нас тут бронетехника, — хихикнул старшина Алёшин.

Следом налетела пятерка самолетов, сбросили бомбы, обстреляли окопы из пулеметов. Наши зенитки отпугнули их, но тут началась атака: такой массы фашистов Ермаков еще не видел. Его взвод оказался левее направления атаки, поэтому он дал команду себя не обнаруживать, пока атакующие не подставят фланг.

Настала нужная минута, Ермаков вскочил на бруствер:

— За мной!

Бежал, видя только фигурки немецких солдат, которые залегли, пытаясь встретить огнем его взвод. В это время вся рота тоже пошла в контратаку, и немцы попали в клещи. Началась рукопашная. Ермаков залег и расстрелял несколько обойм, так и не видя, убил кого или все впустую. Небольшая группа противника побежала назад.

— Уничтожить! — скомандовал ротный, раненный в левую руку, солдаты бросились вперед, но старшина Алёшин крикнул:

— Там пулеметы!

Ермаков задохнулся от предчувствия:

— Ложись! Прекратить преследование!

Чуть опоздал командир: ударили пулеметы, и несколько бойцов упали замертво, а остальные залегли...



— Зарывайся в снег! — орал старшина. — Жди темноты, а то перебьют!

Страшный день. Взвод потерял восемь бойцов — тут же, в сосняке, долбили могилу, топором перерубая крепкие корни сосны.

Взвод отвели на отдых и переформирование. В деревне, в теплой избе, Ермаков доставал свою тетрадь. Писал стихи. О природе северного края, о своих солдатах, о Ниночке-санитарке, о доме, о Родине.

...После отдыха — опять в окопы, опять глухая оборона с редкими и неудачными попытками прорваться ближе к Ленинграду.

Пришел в расположение ротный политрук старший лейтенант Гоголадзе, красивый молодой грузин:

— Ермаков, есть мнение командования рекомендовать тебя в партию большевиков.

Иван встал:

— Спасибо за доверие, товарищ политрук, но мне рано в партию, всего девятнадцать лет.

Гоголадзе улыбнулся:

— А на пулеметы с пистолетом бегать не рано? Родина доверила тебе взвод, доверила полсотни своих сынов — это не рано? Имей в виду: бьют не по годам, а по ребрам. Неделя тебе срока — переговоры с коммунистами по рекомендациям, и будем оформлять. Или, может, боишься, Ермаков? Боишься, что в плен попадешь, а фашисты будут звезды выжигать на груди?

— Не боюсь. И в плен не собираюсь. А документы соберу, товарищ политрук.

Через три месяца, как особо отличившийся, Ермаков был принят в коммунисты.

...Наконец Волховский фронт стал переходить в наступление. Ермакова назначают командиром роты, потерявшей половину состава. Роту пополняют и направляют на Малую Вишеру. Начало января, жестокие морозы. Комбат объявляет, что к вечеру привезут полушубки. Вот тогда и выдали ермаковской роте поношенные бушлаты. Бойцы подняли шум, прибежал командир, а капитан-интендант, сволочь, улыбается:

— Чем богаты...

У Ивана в глазах потемнело: люди на морозе в шинельках и фуфайках, а он вместо полушубков... Схватил интенданта за грудки, а тот ему на ухо:

— У майора Шумейко из батальона поинтересуйся, где ваши полушубки.

Иван Шумейко искать не стал, а капитану так врезал, что едва живого увезли. Тут же особисты в батальон нагрянули, замполит в гневе: офицер поднял руку на офицера, и это во время боевых действий! Ермаков все написал как было — вызывают к полковнику, командиру дивизии.

— Ермаков, все именно так и было, как ты написал в бумаге? Учти, если соврал... В трибунал я тебя не отдам, нет у меня лишних ротных. А партбилет отберут. Но, сынок, и без партбилета можно бить врага. Согласен?

— Так точно.

— Завтра снова идем на прорыв, надо проломить Ленинградское кольцо хоть с этой стороны, тогда все поползет. Езжай в роту, я комбату позвоню. Воюй, Ваньша!

Бойцы, когда узнали, что вернулся ротный, кинулись его обнимать. Старшина Алёшин аж прослезился:

— Сказали, трибунал тебе светит, командир. А партбилет не баба, без него жить можно.

Солдаты захохотали.

...На другой день взяли Малую Вишеру и с боями вышли на Новгород. Ермакову присвоили звание старшего лейтенанта.

Великий Новгород был оставлен войсками Красной армии 19 августа 1941 года, длинным и трудным был путь к желанной победе, но 20 января 1944 года советские войска водрузили красное знамя на древней новгородской кремлевской стене.

С освобождения Новгорода началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда, мощное контрнаступление по всему северо-западному направлению.

Здесь при жестоком артиллерийском обстреле старший лейтенант Ермаков был ранен в голову и контужен. Санчасть, потом госпиталь, длительное лечение и списание с боевой службы, перевод в МВД только что освобожденной Эстонии...

#### 4.

Поезд везет Ермакова на восток: мама прислала телеграмму, что сильно болен дед, Михаил Тихонович, — просит любимого внука приехать проститься. Да, Иван не был в родных краях девять долгих лет. Уезжал на фронт безусым мальчишкой, после обосновался в Эстонии...

В вагоне, стоя у окна, видел строящиеся города, технику на полях, крестьяне сеют, чтобы страна была с хлебом. За Уралом сердце забилося сильнее: вот она, родина малая, березовые колки, озера, окаймленные камышами, деревеньки бедненькие, но на полях тоже тракторы, не женщины с лукошками, как было в войну.

...Из Ишима на автобусе доехал до Ларихи, тут уже ждут: Миша Дробахин приехал на дрожках — Ишим разлился, приходится объезжать горой. Домой прибыли ночью.

Мать, поплакавши, сказала:

— У меня банешка подтоплена, пойди обмойся, да я тебя покормлю.

— Погоди, я около деда посижу. Что же ты лежишь, дед Михаил? Вставай, внук прибыл, — пытался ободрить старика.



— Все, Ваня, тебя повидал, и сердце на месте. Теперь и помирать можно.

Дед умер через два дня. После похорон мать впервые осторожно спросила:

— Ваня, ты, поди, обратно едешь?

— Мам, я же в отпуске! Через неделю отправляюсь...

Но не суждено было Ивановым планам сбыться. Пришел в клуб в поселке, хотя уж не мальчик, — на танец девушек приглашать, присел на лавку у стены, осмотрелся. «Да, Ваня, ничего тебе тут не светит, ни одной девчонки не узнаю. Понятно, девять лет прошло, молодняк вырос, не мне чета».

И вдруг екнуло сердце: стоит у стенки девушка, мало сказать — красивая, а такая, что просто — ах! Русоволосая, роста небольшого, статная, фигура как у артистки, лицо чистое, словно мастером написано.

Иван подошел к знакомому гармонисту:

— Кто эта красавица?

Гармонист над гармошкой склонился:

— Это Тонька, в совхозной бухгалтерии сидит.

— Не наша вроде?

— Приезжая. Сестра ее замужем за директором, она у них и квартирует.

Иван осторожно, как бы между прочим, поинтересовался:

— Есть у ней кавалер?

— Полно, — усмехнулся гармонист. — В случае чего седьмым будешь.

Ивана это не устраивало. Он ткнул гармониста в бок: «Вальс!», а сам четким шагом направился к девушке, опередив двух других молодцев. Подошел к ней, поклонился:

— Разрешите пригласить на танец!

Девушка с удивлением кивнула, и обрадованный Иван чуть не на руках понес ее в головокружительном вальсе. Когда гармонист сомкнул меха, Иван проводил девушку до места и встал рядом:

— Извините, во время танца не совсем удобно говорить, даже познакомиться не сумели. Иван Ермаков, только что прибыл в отпуск из Эстонии. А вы — Тоня?

— Да. Мячкина. Работаю в бухгалтерии совхоза.

— Я уже знаю. Я, кажется, все про вас знаю. Пойдемте отсюда, вечер сегодня прекрасный.

Вышли на крыльцо. Тоня улыбнулась:

— Дожливый вечер называете прекрасным?

Иван шел напролом:

— Потому что именно в этот вечер я встретил вас.

— Ну, не встретили, а увидели у стенки. А вы вовремя подошли, потому что я собиралась домой. Скучно.

Ивана понесло:

— Давайте, я расскажу вам веселые истории из военной жизни.

— Какие на войне могли быть веселые истории?

— Тоня, если человек на войне три года, война становится его жизнью, а в жизни как без шутки? Рассказать, как мы на Волховском фронте меняли Гитлера на портянки?

Тоня улыбнулась.

— А еще интересней: как от батьки Бандеры коза ушла добровольцем к нам в маршевую роту.

Девушка уже смеялась.

— Но всего интересней, как военфельдшер Вася Анисимов, перевязывавший мои раны в августе сорок третьего, атеист и безбожник, уговорил православного батюшку в день 9 мая сорок пятого года на благодарственный молебен во имя Победы, а когда тот уперся, что у него звонарь прихворнул, подрядился сам заменить звонаря и устроил на колокольне такой тарарам, что комендатура приехала разбираться.

Тоня посмеялась от души, а потом сказала, что ей надо идти домой: утром на работу.

— Я прошу вас, давайте встретимся завтра на плотине. Я покажу вам свою деревню Михайловку.

— А я ее знаю, бывала по делам.

— Тоня! — вздохнул Иван. — Кто лучше меня сможет показать и рассказать вам про Михайловку, милую мою деревню?! Соглашайтесь! Вовек не пожалеете.

Тоня спросила с улыбкой:

— Иван, вы стихи не пишете?

Бравый ухажер покраснел:

— Как вы угадали?

— Почувствовала.

— Писал и до войны, и на фронте, только мыши все мои стихи прочитали и съели вместе с тетрадкой.

— Как жалко...

— Ничего! Я еще буду писать! Только, похоже, не стихи.

— Ладно. Остальное расскажете завтра.

Иван долго не спал на домашних полатях, мать проворчала:

— Ты долго будешь досками скрипеть? Или в совхозе на девок наглядеться? Вот хоть одна бы тебя соблазнила да привязала к дому!

— Все, мам, сплю.

Днем Иван занимался во дворе: крышу на стаюшке поправил, грядьбу на огороде подновил... С нетерпением ждал вечера!

Погладил брюки и рубашку, чем насторожил мать. Нина Михайловна с надеждой глядела на эти приготовления, понимая, что так просто он блеск наводить не станет.

Как стало темнеть, рванул на плотину, встал в сторонке, чтоб людей не смущать, и увидел ее, быстрой походкой идущую навстречу. Взял за руки — не оттолкнула.

— Тоня!

— Не надо. Вам через неделю уезжать, там, наверное, жена, дети. Я пришла только потому, что обещала, но это наша последняя встреча.

Иван огорчился:

— Что же ты так, Тоня? Я со всей душой, а ты мне про отъезд. А я уж решил, что никуда не поеду, да и не ждет меня никто. Буду за тобой ухаживать, ждать буду, пока не согласишься за меня замуж выйти.

Не мог в сумерках видеть Иван, как смутилась девушка, какая светлая улыбка проскользнула по ее лицу. Сразу запал ей в душу этот грубоватый, не особо ловкий, не юноша даже — мужчина. Поделилась с сестрой Анной, она посоветовала присмотреться: все-таки издали приехал, кто знает, что у него на уме? А когда узнала, что Ермаков с почты телеграмму дал в Эстонию на свою работу, чтобы трудовую книжку выслали, кивнула сестре: «Кажется, у него серьезные намерения».

Да уж куда серьезней! Подъехал к совхозной конторе на лошадке управляющего, запряженной в кошевку, вызвал Тоню:

— Сбегай домой, возьми паспорт.

— Он у меня с собой.

— Тогда едем в Покровку, там у меня председатель сельсовета знакомый, распишемся и штампы поставим. Я, Тоня, без тебя уже дышать не могу.

Девушка стояла у кошевки и не знала, что же ей делать.

— Может, я хоть сестру спрошу?

— Ты у себя спроси, любишь или нет. Ну, что тебе ответило твое ласковое сердце?

Она шепнула:

— Что любит...

Жить стали в доме Щербаковых, но через несколько недель Иван получил вызов на учебу в Тобольск. Тоня знала, что он ездил сдавать экзамены, потому встретила новость спокойно, а сестра Анна поджала губы:

— И ты его отпускаешь? Не боишься соломенной вдовой остаться?

— Аня, я Ивану верю, и учиться ему надо.

Уехал, писал письма, звонил каждую неделю. Писал, что усиленно занимается театральным делом, оценки получает хорошие. На каникулах дома пошел в бригаду плотников, отработал месяц, чтобы не просить ни у кого денег на дорогу. Тоня в положении — так жалко было ее оставлять... Когда родила, перешла к свекровке, и Нина Михайловна водилась со Светланкой, а Тоня вышла на работу.

Сдав очередные экзамены, Иван приехал и сказал:



— Все, жена моя дорогая, видно, поздно Ваньке учиться, буду своим умом доходить, если потребуется.

На работу пригласили в михайловский клуб. Иван недолго думал, собрал молодежь и начали репетицию спектакля. Потом обошел женщин, пригласил в клуб, стол накрыли, песен попели, всем понравилось. Стали собираться каждую неделю, спевки до того довели, что стекла в оконных рамах дребезжали. И на торжественном вечере, посвященном годовщине Великого Октября, для жителей Михайловки поставили невиданный концерт со спектаклем и большим хором. Об этом написала районная газета, приехал завотделом культуры отставной капитан Головачёв. Узнав, что Ермаков тоже фронтовик, да к тому же в офицерском звании, Головачёв предложил с годик поработать, а потом — перевод в районный Дом культуры.

Иван в каникулы собрал ребятшек и показал им кукольный спектакль, сыгранный одним актером. Ребятишек куклы очаровали, стали осваивать азы мастерства кукловода, принесли кусочки тканей и иголки с нитками, стали шить перчаточные куклы — почти как настоящие. Ивану нравилось, сколько радости доставляли детям эти работы, а потом и маленькие постановки.

Головачёв сдержал свое слово и перевел Ивана Михайловича на должность директора районного Дома культуры. Тоня решительно возражала, потому что знала обстановку в этом заведении — каждое мероприятие заканчивалось застольем, и она не хотела, чтобы муж, с войны склонный к традиционным «наркомовским», окончательно увлекся спиртным.

— Ваня, может, не стоит ехать?

— Не бойся, ты же видишь, что тут мне уже нечего делать, мне неинтересно. А в РДК такие возможности!

Переехали, получили скромное жилье, Иван днями и вечерами пропадал на работе. Часто возвращался с запашком, но Тоня мирилась. В первый же праздник ДК показал большой и интересный концерт. Сам Ермаков читал отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин». Он в это исполнение вложил весь свой артистизм, не читал, а играл моноспектакль, спектакль одного актера. Зал был в восторге, на сцену вышел первый секретарь райкома партии Козырев и от души поблагодарил самодеятельных артистов.

Дела в ДК круто пошли в гору: то хор, то драматический коллектив, то солисты или чтецы привозили с зональных и областных конкурсов и смотров грамоты и дипломы. Так продолжалось почти два года. В один из праздников, после «закулисного» банкета, Антонина не выдержала. Утром состоялся жесткий разговор.

— Иван, это плохо кончится, брось Дом культуры, давай вернемся домой. Помнишь, ты рассказывал мне разные веселые и очень интересные истории? Говорил, что писал стихи и обязательно будешь писать...



Здесь это невозможно! Я увезу тебя в деревню, там мама, тебе будет спокойно, душа твоя встанет на место. Решай. Если откажешься, уеду одна.

Это был один из самых трудных дней в его жизни. «Тоня права, тут все возможности, чтобы свалиться в пропасть. Да, писать надо, писать. Столько в голове задумок! Едем, решено!»

Утром пришел в отдел культуры, написал заявление об уходе, его уговаривали, просили, пугали — а он забрал трудовую книжку и отказался ставить «отходную».

## 5.

Сам Ермаков поначалу не любил об этом вспоминать да и шутки друзей-знакомых воспринимал угрюмо. Но так было — и ни убавить ни прибавить.

После возвращения в деревню с районных «гастролей» он места себе не мог найти: садился писать — слова не шли, начнет вслух выговаривать — вроде складно, как и мечталось, а на листок не ложатся. В клубе место занято, не станешь выживать-то человека, хотя девица эта только ключи носит. Хотел в совхоз пойти, ведь может любую работу делать — Тоня поперек встала. До того мужику тошно, хоть волком вой...

Вот под такое настроение и услышал он утром последние известия: Израиль вероломно напал на Египет. И тут же — заявление советского правительства, что, мол, если наглое избиение Египта не прекратится, то Советский Союз не будет препятствовать выезду добровольцев, желающих принять участие в борьбе египетского народа за свою независимость.

«Эх, — махнул рукой вчерашний фронтовик, — кто, если не русский солдат, заступится за невинно обиженного?» Собрал документы, когда Тоня на работу ушла, оделся потеплее: полушубок новый, сибирских барашков мех, под черный блестящий хром выделанный, неделю назад Тоня из сельпо принесла — все летошние яйца да осеннее мясо за него сдали. Оделся, выскочил на большак и первой же машиной — в район и быстрым шагом к военкомату.

Зашел к военкому:

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться?

— Слушаю. — Военный комиссар Панов встал.

— Старший лейтенант запаса Ермаков. Прошу направить меня добровольцем на Ближний Восток помочь египетским товарищам в борьбе с Израилем.

Панов пригласил сесть, сам не знал, что сказать. Наконец сообразил:

— Рад приветствовать вашу решительность, но пока никаких указаний по добровольцам нет. Где вы остановились? Если до вечера не вызову — завтра утром к десяти часам.

Пошел к другу, посидели. Скучно дома, в чайную пошли, а там мужики с пивом-водкой, уже прослышали про добровольцев. Оказывается, еще пара человек побывала у военкома. Сидит Иван за столиком, а какой-то хлюст подначивает:

— Ты не в этой ли шубе в Египет собрался? Там жара, в одних трусах воюют. Уступи шубу! Али ты только порисоваться, мол, герой, готов хоть сейчас, а завтра сядешь в автобус да к бабе под юбку?

И вскипела в Иване подогретая выпитым кровь, взыграла мужская гордость, скинул он полушубок и над головой поднял:

— Восемьсот неделю назад плачено!

Хлюст тут как тут, отвернулся к стенке, подштанники ослабил, отслюнявил восемь сторублевков, а Ивану фуфайку свою оставил и смылся.

Утром по морозцу явился Иван в военкомат. Панов мимо прошел, не узнал, не поздоровался.

— Что хотел, молодой человек? Ба, да вы вчерашний доброволец! А шуба, извините?..

— В Египте и без шубы жарко!

— Так-то оно так, — вздохнул военком, — но насчет добровольцев есть приказ воздержаться. Так что езжайте домой, в случае необходимости вызовем.

Грустным вышел Иван из военкомата. Как домой ехать, что Тоне сказать?

А военком дивится:

— И кто это сказал, что русские долго запрягают?

Приехал в деревню потемну, в дом вошел — Тоня за сердце схватилась:

— Ваня? А полушубок...

— Нету, Тоня. — И все как есть рассказал...

Жена вздохнула:

— Ладно, Ваня, совесть наша с нами, а шубу мы наживем.

Иван благодарно посмотрел на Тоню: умница, где другую такую сыщешь?

Через несколько лет Ермаков создаст сказ «Костя-Египтянин», в котором этот случай выписан очень ярко. Хотя и говорили в то время, что про шубу, про добровольцев — все Иван придумал, а рассказал эту историю как воистину бывшую. Ведь все знали ее только с его слов.

После конфуза с Египтом и незамедлительно сделавшейся известной в деревне и окрестностях истории с хромовым полушубком совсем невмоготу стало Ивану. Тоня боится лишнее слово сказать, сестра, опытная в семейных делах, предупреждает:

— С мужиками так бывает: не сложилось — они уже и руки опустили, все, конец света, вроде и жить не знают как, да и вообще стоит ли...

Тоня за сердце хватается:

— Ты меня не пугай...

— Не пугаю, а предупреждаю: не лезь в ту минуту! Они, подлецы, с горя и запить могут.

Иван ранним утром уходил в пронзительный березовый лесок, который по едва заметной гриве поднимался от деревни и смешивался с другими. Набрел как-то на деляну, где лес выпилен и пятеро мужиков дом рубят. Одна клетка сруба в четыре ряда стоит в сторонке. Подошел поближе — мужики не свои, поздравились, познакомились.

— Вот, подряд взяли, три дома срубить. Понимаешь что в нашем деле?

Иван признался:

— Не особо разбираюсь, но работа ваша чистая, вижу.

— Молодец! — похвалил старший. — Я заметил, ты тонку щепку взял и в переплет засунуть пробовал. Зашла?

Иван засмеялся:

— Ну и глаз у тебя, я вроде старался незаметно. Хорошая работа, ничего не скажешь!

— А мы, паря, не для того, чтобы курям на смех, а гордость свою вкладываем. Спроси любого, где мы дома ставили, что за Варнацкая бригада — тебе скажут. Мы впятером, два брата с сыновьями. Из староверов, было бы тебе известно, так что ни гульбы, ни перекуров. Может, вера уже и не та, мы с братом повоевали. Ты тоже, поди, не отсиделся? Я вижу, бывалый. Молимся вечером, но главное от стариков взяли: жить по совести.

Ивану это интересно:

— А плотницкое дело в роду у вас?

Старший потер затылок:

— Да как сказать? Дед с артелью ходил, мы с малых лет с топором баловались. Бывало, приду на стройку, ребята сладкий сок с берез скоблят, а я норовлю потесать что-нибудь. Отец заметил интерес, то отпилить что позовет, то по доске прочертит, потесать даст, то покажет, как одним ударом гвоздь забить. А потом обчертил выем в бревне и говорит: «Ну-ка, Егорка, выбери это топориком». Я на радостях сначала с одной стороны за черту ушел, потом и с другой туда же направился. Испугался, сижу, нос повесил. А дед подошел, хлопнул по плечу: «Не горюй, как бы ни клин да мох, так и плотник бы сдох». Ну, это присказка такая, а на самом деле плотник как скульптор: срубишь лишнее — испортишь камень. Точность удара должна быть. Потому инструмент точим так, чтобы в бревно как в масло входил. Выточил, выдернул из чуба волос, пустил на лезвие с высоты, развалился волос пополам — добрый топор, толковый плотник.

Иван слушает, а блокнот достать боится — спугнет рассказчика. А тот, видно, в раж вошел, развесистые уши увидел и все свои семейные предания огласил. Четверо работают, вроде их и не касается.

Иван в тонкости старается заманить рассказчика:



— Егор, а плотнику все равно, какое дерево под топором?

— Э, брат, тут целая наука! Дед, бывало, заставит глаза закрыть, а сам к носу моему щепку подставляет и требует назвать: какого дерева щепка? А потом зачнет этот дух хвалить, какой он тревожный да здоровый. И приведет к тому, что плотники да столяры дольше всех живут, потому что деревянным духом дышат, душа, мол, размягчатся и сосуды разные.

— А сыновей как вы к делу приобщали? Сейчас молодежь все больше к технике...

— Вот они три брата, два родных, третий сродный. Мой-то с младых ногтей к топору прикипел, я его через те же науки провел, что и дед меня. Братов парень в армии отслужил, женился, строиться надо. А сам топор держал, когда мать заставляла кур рубить. Ну, ко мне, а я в ответ: «Зови брата, он хоть и молодой, но дело знает». Пришлось идти, хоть и зазорно. Стали вместе рубить. А тут и второй из морфлота демобилизовался, с месяц лентами от бескозырки девкам мозги позаплетал — и тоже к срубам. Такой дом сварганили — старшим есть на что посмотреть. Вот тогда и собрались мы в бригаду, молодежь назвала Варнацкой, да так и прикипело. Ну, гость дорогой, мне за дело пора.

— Спасибо, Егор, за разговор интересный, — поблагодарил Иван, а в голове уже кипело: вот он, рассказ готовый, только записывай.

Пришел домой, схватил тетрадку — и под сарай, столик там стоял простенький, табуретка... Тоня с работы пришла, калиткой сбрыкала и остановилась: не помешала ли? Вот так потом будет всю жизнь остерегаться стукнуть-брякнуть, когда муж за работой.

Начал Иван с заголовка «Варнацкая бригада», но тут же зачеркнул: варнак — ругательное слово, не подходит для светлого рассказа. А в Покровке, в соседнем селе, был у Ивана знакомый плотник Соколов, по-деревенски — Соколок. И он вздрогнул: вот имя бригады, вот название рассказа: «Соколова бригада». Зачин, зачин, он хорошо понимал: как начнет писать, так оно и пойдет. Начал с описания леса, березок, пташек-букашек — все зачеркнул.

Охватил голову, мысленно проследил весь рассказ Егора и споткнулся о хорошо знакомую фразу: «Как бы ни клин да мох, так и плотник бы сдох!» Не тут ли решение? Вот в этой манере, народной, и надо рассказывать. Значит, уйти от гладкого стиля и кругленьких, веками обкатанных слов, настроиться на разговор Егора, мамы Нины Михайловны, простых мужиков и баб, которые не знали грамоты, но умели выражать свои чувства и мысли такими убедительными словами.

Иван настроился на речь Егора и начал:

«Фамилия-то ихняя не Соколовы — Ёлкины они. А Соколками — это по отцу зовут. Отец был Соколок». Скоро Иван понял, что только рассказа Егора ему будет мало, и тогда он стал описывать его отца, а это Гражданская война, колчаковщина, и о том времени он много знал баек и

бывальщин — вот и пригодились. Знал он одну историю про мужика, которого в деревне и красные, и колчаковцы за старосту оставляли. Фронт был такой неустойчивый, что утром красные, в обед — белые, а к вечеру опять «Вставай, проклятем заклейменный!». Мужик, чтобы впросак не попасть, наказал церковному звонарю: если белые идут — бить редко, но гулко, а если красные — мелкий звон и с подголосками. Звонарь, чтобы не лазить на колокольню всякий раз, веревку от колокольного языка до земли опустил и позванивает. А Марфа, старуха, что рядом с церковью жила, козла своего утром к этой веревке привязала...

Иван так красочно описал эту картину, что сам улыбнулся. Кажется, пошло. Через три дня он уже читал Тоне сказ «Соколкова бригада» — гимн топору и его мастеру. Тоня обняла мужа и сказала, что это очень интересно и написано не так, как пишут писатели сегодня, а как говорит народ.

— Правильно, Антонина Пантелеевна, мне этого и хотелось добиться!

Тоня в совхозной конторе перепечатала на машинке текст, и Иван Михайлович отправил пакет в «Тюменскую правду». Через неделю получил письмо за подписью редактора газеты Д. Ф. Иванова, что сказ будет напечатан в самых ближайших номерах. В это же время Ермаков отправил текст в журнал «Сибирские огни», не зная, что территориально область относится к свердловскому «Уралу». Это был перст судьбы. Новосибирцы очень внимательно отнеслись к тюменскому автору, а главный редактор А. В. Никульков даже приезжал к Ермаковым в гости. Начни Иван с «Урала» — не вдруг скажешь, как бы сложилась его творческая судьба.

Получив первый гонорар, он сказал жене:

— Все, Тоня, теперь у меня две любимые женщины: ты и литература. Я верю в свои силы! Но надо писать и писать...

Он до рассвета не вставал из-за стола, пил крепкий чай, курил. Ложился спать, оставив на столе рукопись. Антонина Пантелеевна утром перебирала листы и удивлялась количеству зачеркнутых строк. Потом он переписет все набело, еще раз пройдет пером по живому, между строк напишет новые.

Один за другим появляются сказы «Аврорин табачок», «Сорок седьмая метка», «Ленинское бревнышко», «Ценный зверь — кирза». Он собирает все сказы и едет в Тюмень к редактору книжного издательства К. Я. Лагунову. Встреча состоялась, Ермаков оставил рукописи и лег на лечение своей фронтальной язвы желудка. А Лагунов сделал такую запись:

«Летом шестьдесят первого в мой хлевушок с покосившимся полом, приметно сплюснутыми рамами и с незапиравшейся хлипкой дверкой — так выглядел кабинет главного редактора Тюменского издательства — ввалился, грохоча тяжелыми ботинками, здоровый мужик. Плечистый.

Пудовые кулачищи. Лицо грубое, будто наспех и одним топором вытесанное. Большой нос. Крупные губы. Лохматые брови. В глазах взблескивает живая лукавая искорка.

Вошел он без стеснения. Лапища у него широченная, кирпичного цвета, пальцы хваткие, цепкие, могучие, так тиснули мою руку, что я поморщился.

— Иван Ермаков.

...Сложный это был характер. Карамазовский. Неистовый, отчаянный. Не признающий никаких полумер, презирующий приспособление, фарисейство, подхалимаж. Он был и открыт, и понятен, хотя и грубоват порой, и невозможно прямолинеен».

Сказы Лагунов прочел, после лечения Ермаков зашел в издательство.

— Иван Михайлович, — поправил очки Лагунов, — вот вам совет: выбирайтесь из деревни в Тюмень. Понимаю, что родная среда вас хорошо подпитывает эмоционально, языковые источники богатые, но будете приезжать туда в гости, а жить писателю надо здесь, точнее — там, где издаются книги, цель всей нашей работы.

— У меня семья. Где жить в Тюмени?

— Пока езжайте домой, попробую решить вопрос с жильем и вас вызову.

...Квартирку дали маленькую, но в центре города. Иван Михайлович стал вживаться в городскую жизнь.

## 6.

...Как-то в давнее время заметили люди, что по нагорью реки Ишима враз поднялась березовая роща. Всех дивило, как это в одно лето обсеменились тысячи десятин?

А было тогда в тех местах великое множество мышей, нарыли они норки — шагу нельзя ступить, за год до того знойное лето припекло, ни капли дождя, вот и расщелилась земля, и ранние бесснежные морозы довершили дело. Весной в эти щели да мышьи норы ветра и дожди загнали березовое легкое семечко, и поперли деревца вширь, вдаль, окрест — все под себя забирают! Так родилась роща, а у рощи приютилась деревня с дивным названием Веселая Грива.

В деревню эту явился с японской войны Кузьма Алексеевич Пятков, на войне глаза лишился, а дома увлекся берестой: посуду, игрушки делал, деготь гнал, даже в лапти вплетал бересту. Постепенно забыли его имя-отчество, получил он прозвание Берестышко. Служил лесником, в его обходе и оказалась лесная Веселая Грива. Любил лес и все в нем, с птичками разговаривал, кустики и травы поглаживал. Из его уст услышал Ермаков признание: «Родная мать... песенки над твоей колыбелькой пела, сладким молоком вскармливала, имечко дала, русую головушку



расчесывала, а стоило тебе сделать первый шаг, как вторая мать — земля ласковая — подошвки твои розовые целовать принялась. Первая в погремушку гремит, а вторая голубую стрекозу на мизинчик тебе садит. Ты ее изловить хочешь, а она — порх! И запела крылышками. И поманила тебя... “Иди-ко, голубок, гляди-ко, голубок, много див у твоей Зеленой Матушки про тебя наготовлено. В грудку — дыхание свеженькое, сквозь цветы да мяты процеженное. Животу да язычку-лакомке — земляники, малины да любой сладкой ягоды, глазам — жар-птицы, полянки лесные, ушам — соловейушки звонкие”. Кропят голову твою чистые дождички, мужаешь ты под ее резвыми громами, растешь, крепнешь, зорче становятся глаза твои... Вот у первой матушки и морщинки на лице обозначились, и седые струнки по косам прянули, а вторая, что ни год, все моложе да красивее перед глазами твоими является. Цветет она лугами, зеленеет лесами, порхает красной птичкой, снует веселой рыбкой, прядает вольным зверем — солнышко, звезда и радуга ее охорашивают, синие ленты рек ее украшают. И все это — от голубенькой стрекозки до молоденькой апрельской зорьки — для радости глаз твоих, для тихого ровного счастья твоего цветет, человек».

...Переехали к Веселой Гриве 30 казахских семей, осмотрели лесники березки и порешили: созрели, нельзя допускать переросту, надо в дело. И запели пилы, застучали топоры, а к осени 30 домов выстроились в улицу. Старшим десятником у казахов был Галим Сабтаганов, семья у него большая, уже тут родили ему дети внука, Ермеком назвали. И прикипел он к деду Галиму. А у того — маленький лосенок, ножку подвернул, дедушка его лечил, рос лосенок и звали его Кырмурын. А еще дедушка умеет с зайцами разговаривать и гостинцы от них приносит — засохшие лепешки из дедовой сумки, вроде недавно бабушка такие же пекла, а от зайца Кояна вкуснее. Кырмурын и Коян из дедовой сказки стали для Ермека жизнью, и он горько плакал, когда уже повзрослевший лось ушел в лес...

Пошли ребяташки по ягоды и трехлетнего Ермека с собой взяли. А мальчик все смотрит: не выйдет ли к нему Кырмурын, не выскочит ли Коян с гостинцами? И видит — сидит под кустом заяц, точно такой, каким его дел Галим обрисовывал.

Ермек к нему:

— Коян, — кричит, — это я, Ермек, твой друг! Я поглажу тебе ушки! Дам хлеба!

Заяц не стал дослушивать, уши прижал и прыгнул в траву. Ермек — за ним! И оказался в сказке, которую рассказывал ему дедушка Галим. И лес догадался, что Ермек ищет сказку. Птичка-красногрудка, дятел, барсучонок и даже ворон, вещая птица, триста годов живет, — и тот подсказывает: «Иди прямо... Там сказка... Они тысячами лет живут».

И встретил Ермек своего друга Кырмурына, вместе идут, и лес приветливо на все голоса: «Нашел мальчик свою сказку!»



Но злой губитель природы Филька Казненный Нос увидел лося, прицелился, рука не дрогнет, черное ружье не промахнется — а мальчишка за тушей не заметил... И тут наступил Ермек на сухой сучок, громко ойкнул. Дрогнул Филька, но выстрелил — пробила картечь краешек лосиного уха, прыгнул зверь в сторону, и видит Филька: вместо лося мальчишка стоит. Дикий суеверный страх охватил браконьера, вскочил на коня и — галопом!

...Тоня прибежала из конторы:

— Ваня, беда, мальчишка казахский пропал!

— Где? Как? Говори толком!

— По ягоды пошел с ребятами... И пропал.

Иван надел сапоги, отрезал кусок хлеба. У конторы уже народ, в кузов грузовика набились, в лесу разошлись цепочкой, каждый кричит: «Ермек! Ермек!» Пастухи кнутами хлещут: может, услышит? Тракторист Ганя Бекетов, у него трактор с гудком, косит травы и гудит, гудит.

Пионерский барабанщик Володька Бородин и горнист Славка Королёв собрали друзей, идут по лесу, гудят и барабанят, голосят в дюжину глоток, Ермека зовут.

Военком собрал призывников — все на поиски. Местное радио: «Товарищи, все, кто может принять участие в розыске Ермека Сабтаганова, спешите к конторе совхоза».

«Двое суток бродит, — волнуется Берестышко. — Зверь не тронет, лето, а вот комар способен источить. По капельке насекомая может кровь высосать из ребенка!»

К обеду на вторые сутки вышел мальчик к животноводческому лесному отгону, увидела его дежурная доярка Фрося Колмогорова, ухватила, прижала к груди:

— Дикушка ты маленькая, черноглазик ты наш дорогой!

Бригадир Вася Волков посадил Ермека, поехали к людям, которые Горелое болото обходят, а перед болотом в лесках пересадил Ермека за спину, чтобы взять и вдруг показать эту всеобщую радость. Выехал к болоту, видит цепь людей и дивится: немец Иосиф Иосифович Штрек, старик, шофер Вася Черненький, не знамо, какой нации, казахи, русские, цыган Гриша Кучеров, молдаванка Василиса...

— Гляди, Ермек, что наделал. Половину республик на Горелое болото вывел! — сказал Вася Волков.

— Зачем ты от ребят ушел? — допытывается старый Галим.

— С зайчиком поговорить, который мне лепешки присылал. А еще Кырмурына видел, ему ухо отстрелили! Дяденька на лошади...

Так и не могли больше ничего попытаться. А в это время Филька сообразил, что могут ухо найти, следствие наведут, его расшифруют, поехал на то место — точно: и ухо, и сапоги мальчишки, и котелок... Надо зарыть в муравейник!

Только с коня спрыгнул — голос:



— Прихораниваешь, значит?

Филька — за ружье!

— Брось! — голос Берестышка.

Филька затравленно подает ружье Берестышке — и нажимает курок! А сам к лошади — и ходу с этого места. Раненый Берестышко целился, но картечь попала в лошадь. По следам ее крови и нашли Берестышко. Он еще в памяти был. Спросил про Ермака. Сказали, что нашли, с зайчиком поговорить хотел. Попить попросил. Пока за водой бегали, бредить начал.

«Зайчиком она тебя поманила... Она умеет. Много у нее всякой заманки. А меня голубенькая стрекозка... Я ее изловить на мизинчике, а она порх — и полетела. И ты иди. Узнавать. Любить».

Ошеломленный великой заботой многонационального люда о казахском мальчишке пришел домой Иван. Тоня уже успела приготовить скорый ужин. Устали.

Иван взял с полки стопку бумаги:

— Ты спи, Тоня...

Несколько суток писал: поел, подремал — и снова за стол. Теперь уже его вела голубая стрекозка по Гнилому болоту, по березовым лесам, а заодно и по большой и подвижнической жизни непридуманного Берестышка, которого Иван с болью проводил в последний путь... Долго сидел под крышей сарая, сложив на столе могучие свои руки и вдруг показалось, что на мизинчик села голубая стрекозка. Улыбнулся и уснул, осторожно положив голову на листы бумаги, чтобы не спугнуть свою сказку.

## 7.

Вернувшийся из Москвы Лагунов позвонил Ермакову:

— Привез твой билет члена Союза писателей СССР. Завтра соберем товарищей, вручим.

В большой угловой комнате на пятом этаже Дома Советов собрались писатели, литературная молодежь. Все уже знают про новость, но с поздравлениями не лезут, всему свое время — у Лагунова не забалуешь.

— Дорогие товарищи! — Лагунов опытный оратор, в Узбекистане был вторым секретарем ЦК комсомола, кандидат наук, член Союза писателей, по поручению Свердловской организации курирует литературную жизнь области. — Вы знаете, какое значение придает партия писателям, инженерам человеческих душ. У тюменских авторов выходят новые книги, у нас есть резерв для роста. И я с огромным удовольствием вручаю писательский билет Ивану Михайловичу Ермакову.

Иван встал, принял билет:

— Был у нас в Михайловке дед Михай. Вручают ему как-то на сенокосе почетную грамоту. А деда за всю жизнь сроду никто добрым словом не отблагодарил... И растрогался дед: «За день выкашивал по восемьде-

сят соток, а теперь с такой гумагой обязан косить весь гектар ежедневно, и пусть учетчик меня контролировать!» Вот и я хочу сказать, что с этой бумажкой я должен работать лучше!

— Кстати, о сказах, о любимом жанре Ивана Михайловича. — Лагунов сел за стол. — На комиссии по приему один товарищ возмутился: «Сказы — жанр Павла Петровича Бажова, кто дал право Ермакову использовать чужой жанр?» Закипели страсти, но встал Михалков и обратился к тому критику: «Фёдор Савельевич, ты вот поэмы в год по три штуки выдаешь, а, между прочим, жанр не тобой изобретен, ты его воруеть и считаешь, что все в порядке вещей!» — «Так то поэмы!» — воскликнул Фёдор Савельевич. «А тут — сказы, причем очень любопытные вещи. Передайте от меня поклон автору Ивану Ермакову!»

Когда в комнате остались только писатели, Лагунов продолжил:

— В ЦК партии дали согласие на создание Тюменской областной организации Союза писателей СССР. Видимо, это произойдет уже в новом, 1963 году.

Ермаков подошел к Лагунову:

— Костя, мой билет надо бы обмыть по-русски. У меня пара бутылок коньяка и сухое.

— Исключено! В здании Дома Советов распивать спиртные напитки — вы что, товарищи?! Исключено!

«Товарищи» пожали плечами и спустились в вестибюль.

— Может, ко мне, ребята? Тоня пирожков напекла...

Не получилось, решили оставить до лучших времен. А они наступили скоро...

Б. Е. Щербина, первый секретарь Тюменского обкома КПСС, был истинным партработником и созданную писательскую организацию всегда держал под прицелом.

И вдруг ему на стол попадает папка с документами о хулиганских выходках нетрезвого писателя Ермакова! Щербина читал все его книги, наслаждался образным и сочным языком, ядреным сибирским говором его героев. Сам будучи убежденным трезвенником, Щербина нетерпимо относился к выпивающим. Но тут же писатель, не простой человек... Нет, непременно надо побеседовать.

Через приемную встречу назначили на пять часов вечера. Иван сообразил: конец рабочего дня, можно хоть до утра говорить. А о чем? Неспроста Первый приглашает и не чаем поить собирается. Стал вспоминать свои последние промахи.

В городе Ишиме попал в милицию, но считал, что пострадал за правое дело: вышел из ресторана, а стайка ребятишек с лыжами жметесь в углу — на соревнования приехали... Подошел: «Что пригорюнились, орлы?» — «Мест нет, а у нас завтра старты».

Ермаков к администратору: «Мать, надо поселить ребятишек». — «Я же сказала, что мест нет!» — И захлопнула окошко. С Иваном так

разговаривать нельзя, он ловко сорвал с крючка форточку и возмутился: «Пятнадцать торгашей или проходимцев на моем этаже живут, а мальчишкам места нет? Ну, я найду на тебя управу! Звони в милицию!» — «Уже позвонила!» — А сама к дальней стенке жметя. Приехали трое во главе с капитаном, тот сразу к администратору, а она на Ермакова показывает.

— Пройдемте, гражданин! — предложил капитан.

Ермаков взорвался:

— Я писатель, боевой офицер Советской армии, князь сибирский! Ты вникни в дело. Ребят в холодном коридоре оставляют, а всякая нечисть живет в номерах!

— Но вы пьяны!

— Совершенно справедливо, иду из ресторана. Ты меня увезешь, но прежде определи ребят. Если откажешься, я вселенский скандал устрою и напишу тебя в сказ под твоей собственной фамилией.

Не увезли, ребяташек определили на раскладушки, но в протоколе милиционер написал: «Он назвал нас псами».

В Тюмени раза три брали его под белые ручки прямо на выходе из ресторана. По трезвости Иван понимал, что кто-то следил и стучал куда надо. Но первому секретарю такие подробности рассказывать не будешь. Хотел позвонить Лагунову, но выслушивать его нравоучения перед предстоящей исповедью...

Погладил брюки, рубашку, почистил ботинки, оделся, позвонил жене:

— Тоня, меня в обком вызывают, скоро не жди.

Открыл холодильник, налил стакан водки, выпил, заел каким-то салатом из Тониных припасов, прополоскал рот и пошел. Милиционеру на входе назвал фамилию, тот глянул в журнал:

— Проходите.

Иван улыбнулся: первый раз в святая святых. Прошел по лестнице, стукнул в дверь приемной, открыл, поздоровался.

— Товарищ Ермаков, Борис Евдокимович просил немного обождать, у него важный телефонный разговор.

Иван сел на самый краешек мягкого кресла и чуть не соскользнул, чем вызвал улыбку женщин, красивых и строгих, в глухих белых кофтах и черных пиджаках. «Спецовку им выдают, что ли?» — мелькнуло в голове. Огляделся: все скромно, чисто, ковер на полу накрыт серой тканью. Хотел еще раз в памяти перебрать, о чем надо поговорить с Первым, но не успел: одна из женщин встала, жестом пригласила его, сама открыв дверь. Иван через широкий тамбур прошел в большой кабинет.

Невысокого роста красивый мужчина с улыбкой поднялся из-за стола навстречу:

— Здравствуйте, Иван Михайлович!

— Здравствуйте, Борис Евдокимович...

Щербина, конечно, уловил запах спиртного, но вида не подал. Заговорил об организации, чем занимаются писатели, что обсуждают, потом о

книгах Ермакова, очень тепло Первый отозвался о «Голубой стрекозке». Затем внимательно посмотрел на Ермакова:

— Иван Михайлович, как вы относитесь к партии?

— Никак. Вступил на фронте, но исключили.

— А почему снова не вступили?

— Не мог. Мне и на фронте предлагали, а там, вы должны знать, плохому воину не предложат. Я сказал: только через восстановление. Отказали. И я забыл об этом.

— Над чем сейчас работаете?

— Много задумок: и солдатские сказы, и с Севера привез много впечатлений. Уж коль разговор пошел, Борис Евдокимович, квартирный вопрос меня мучает, дети растут, дома работаю только по ночам. Князем сибирским ребята окрестили, а князь на двадцати квадратах. Нужна квартира, товарищ секретарь.

Щербина помолчал, покрутил толстый карандаш, толкнул его по столу:

— Иван Михайлович, вы сейчас выпили для смелости?

— Разволновался, принял сто пятьдесят, признаюсь. Уж извините...

— Я-то извиню, но ведь это случается часто. Давайте так: вы со спиртным поаккуратней, а квартиру вам дать — это мне, как говорится, раз плюнуть.

Иван встал над столом и театрально выбросил вперед руку:

— Так плюньте же, Борис Евдокимович, плюньте прямо сейчас!

Щербина засмеялся, прошел к столику с телефонами, снял трубку:

— Григорий Иванович, у нас на Республике скоро дом сдается. За резервируйте за писателем Ермаковым трехкомнатную квартиру, с выходом во двор и повыше, чтобы шум городской не мешал. — Положил трубку, подошел к Ермакову, пожал руку: — Желаю новых идей и новых книг. Я ваш постоянный поклонник. До свидания.

Иван спуускался по лестнице, а Щербина разговаривал с начальником городской милиции:

— Дайте команду патрульным службам: писателя Ермакова, если нетрезвый попадетсЯ, в вытрезвитель не пихать, а везти домой, сдавать жене. Правда, адрес скоро изменится, но он им его продиктует.

## 8.

Вот что рассказывает К. Я. Лагунов о рождении Тюменской писательской организации: «...В 1963 г. в Тюмени не было дворцов культуры, не было филармонии и Дома политпросвещения с их просторными многоместными залами. В городе имелся всего один большой современно оборудованный зал заседаний в помещении обкома КПСС. Там проходили все наиболее значимые совещания, заседания, конференции, пленумы. Поэтому, вероятно, никого не удивило, что в тот студеный февральский



вечер к обкому шли люди. И шли они в основном не по одному, а веселыми говорливыми стайками — так идут на всенародный праздник. К означенному часу зал заседания был переполнен.

Вместе с областной верхушкой, возглавляемой первым секретарем Тюменского обкома КПСС Б. Е. Щербиной, за столом президиума восседал секретарь правления Союза писателей, известный детский писатель Сергей Баруздин и шестеро именинников — членов Союза писателей, из которых и состояла только что родившаяся Тюменская областная писательская организация. Ее рождению и посвящено было столь представительное и многолюдное собрание общественности города Тюмени.

Собрание открыл Щербина. Человек высокообразованный, эрудит, прекрасный оратор. По своей природе, складу ума, духовному настрою Щербина был идеологом. Его всегда занимала и глубоко волновала духовная жизнь всего советского общества и, конечно же, своего края. Именно он сыграл решающую роль в создании областной писательской организации. Щербине во многом обязана она своим стремительным взлетом, превращением в одну из авторитетнейших писательских организаций Советского Союза. Присутствующие тюменцы овацией встретили весть о рождении организации. И щедрыми аплодисментами наградили каждого писателя.

За вычетом моей персоны их было пятеро. Великолепная пятерка!

Иван Истомин. Человек-легенда. Прозаик и поэт. Публицист и драматург. Всю жизнь не расстававшийся с костылями. Человек, могучий духом, постоянно преодолевавший жестокие насочки немилосердной судьбы...

Вторым память высветила Михаила Лесного (Зверева). Это добродушный, изысканно-вежливый, гостеприимный ишимец. Он жил тихо и неприметно в своем ишимском “поместье”. Сочинял книжки для детей — о родной сибирской природе, о наших четвероногих друзьях...

Далее — Майя Сырова. Смуглолицая болгарка. С ослепительной улыбкой и искристым взглядом. Поэтесса. Вскоре уехала в Москву. Умерла там от сердечного приступа в реанимационном отделении больницы...

Четвертый — самостийно неукротимый, размашистый и голосистый Иван Ермаков. Крупный, плечистый мужик. С лицом грубым, будто наспех, одним топором вытесанным. Большенос. Крупные, ядреные губы. Лохматые брови. В глазах — озорное лукавство. Он пришел в Союз писателей с большой книгой самобытных, ярких, звонких сказов, которые, уверен, будут жить долго-долго...

Замыкает великолепную пятерку Василий Еловских. Худощавый, очень проворный и энергичный человек. Принимали его в Союз писателей по книгам, вышедшим в Москве. А это что-нибудь да значит...

После торжественного публичного крещения новорожденной Тюменской областной писательской организации нас пригласили в малый зал заседаний бюро обкома партии. Зеркально отполированные столы



накрыты белыми салфетками. На них закуски и напитки. Так новорожденную обмыли “русской горькой”.

Чтоб в зале заседаний бюро обкома партии пили водку, курили и во всю мощь голосовых связок базарили кто во что горазд, а захмелевший Иван Ермаков хриплым баритоном распевал самодельные частушки — такое и присниться в ту пору никому не могло. Но жизнь изобретательней и фантастичней снов...

Штатных работников в писательской организации было всего двое: я (ответственный секретарь) и Зинаида Белова-Черкасова. Она была бухгалтером и кассиром, техсекретарем и машинисткой, делопроизводителем и завхозом. И еще литератором — ее рассказы и очерки постоянно появлялись в местных газетах, передавались по областному радио.

Зинаида Алексеевна в своей очень нужной должности была одна. Но вокруг писательской организации было много деятельных, талантливых людей, беззаветно преданных литературе, одержимых творчеством.

Если попытаться выстроить эту ватагу в одну длиннющую шеренгу, то на правом фланге, наверное, окажется Л. В. Полонский. Литературовед, критик. Язвительный и царапучий. Добрый советник и помощник, много сделавший для пропаганды творчества региональных писателей, для возвышения авторитета областной писательской организации.

Ну а левый фланг представят два юных друга — Владимир Нечволода и Николай Денисов. Внешне они мало схожи. Владимир — круглолиц, яркогуб и по-детски наивен. Николай — заметно крепче телом и духом, с крутой мужицкой суровицкой в лице и прицельно цепким взглядом.

Позже оба окончили Литературный институт, стали профессиональными поэтами. Однако время показало, что талант Николая Денисова разносторонней и ядреней. Он проявил себя и как незаурядный прозаик, и как огненный публицист, и как отменный организатор литературного процесса, много лет редактируя газету-альманах “Тюмень литературная”, сделал издание широко известным не только в России, но и за рубежом.

Между право- и левофланговыми несколько десятков превосходных литераторов. О каждом из них можно было бы рассказывать много интересного, поучительного и забавного, смешного и грустного, но непременно оригинального...

Вот “поперёшный”, задиристый и ершистый поэт Владимир Фалей, которого “мама в капусте нашла”, когда его “шлепали по попке лопухи”. Решительный и отважный и в жизни и в стихах, Володя обладал редким качеством притяжения, и вокруг него всегда кучковались жаждущие подвига и славы...

А вот рафинированный интеллигент, философ, тонкий лирик Анатолий Кукарский. Однажды встретив на улице женщину, которая силой волокла на поводке упирающуюся, рвущуюся в кусты собаку, Анатолий заступил незнакомке путь. И так красочно, так взволнованно, так убедительно живописал страдания подмятого неволей вольнолюбивого веселого

пса, что женщина отстегнула поводок, дав волю ошалевшей от радости собаке...

Или вот комиссар нашей писательской организации — так заглазно называли мы бессменного парторга Виталия Клепикова. Критик и публицист, блистательный знаток современной литературы, Виталий был душой писательской молодежи.

Во время подготовки к Дням советской литературы в Тюменской области Клепиков отвечал за выпуск серии небольших по объему поэтических буклетов. И среди известных имен оказался буклет... никому не известного северянина. Охотника, значилось в биографической справке. И в стихах — Север, олени, тундра... “Кто автор? Где он, покажите!” — требовали мы. Дознались! Оказалось, что Клепиков придумал этого поэта и... написал за него стихи!

Вот такие талантливые, смысленные, а порой и озорные мужики были в нашем активе. Из него пришли в Союз писателей Зот Тоболкин и Геннадий Сазонов, Анатолий Васильев и Сергей Шумский, Станислав Мальцев и Юрий Надточий, Николай Смирнов и Андрей Тарханов, Маргарита Анисимкова и Раиса Лыкосова и другие, ныне здравствующие и активно работающие — прозаики, поэты, публицисты...»

## 9.

На родине, в Казанском районе, всегдашним другом и товарищем Ермакова стал фронтовик, капитан Головачёв. В одном из очерков он назвал его «капитан Головач» — так показалось звучнее. Ну и прикипело к вечному заворгу райкома партии это новое «звание»...

Приехал Иван на родину последним автобусом, в гостиницу идти — скучно, поговорить не с кем, пойду-ка к Владимиру Тихоновичу. Позвонил с автовокзала, Головач обрадовался, сказал, что сам выходит навстречу.

Дома предложил другу баньку, Иван не отказался, попарился, вышел. Владимир подал ему свою рубашку. Над рубашкой, которая чуть не целиком накрывала Ивана, посмеялись, сели за стол. Выпили. Хозяин поделился районными новостями — самое главное, что ожидается хороший урожай, если, конечно, погода не подведет.

— Иван, ты ведь знаком с Кньшом, нашим первым?

— Встречались. Как-то он меня сторонился... Правда, я тогда выпивши был.

— Он этого не любит. А так — хороший мужик, наш, вакаринский, фронтовик. Давай пригласим?

— Ты хозяин.

Головачёв позвонил, сказал, что к нему заехал фронтовой товарищ и земляк писатель Ермаков, просит о встрече по-домашнему. Кньш согласился, что знатного земляка приветить надо. Вынул из холодильника





бутылку водки под удивленный взгляд жены и пошел. Оба друга сидели на крыльце, даже трезвенник Головачёв был навеселе. Писатель смешил его каким-то рассказом, то и дело прилаживал к верхней губе обломок расчески, смахивал на сторону чуб и становился похожим на Гитлера.

— Здравствуй, Иван Михайлович, с прибытием на родную землю.

— Здравия желаю, Василий Фёдорович, только для меня вся земля наша советская — родная, я и в Белоруссии свой, и на Кавказе. Недавно в Казахстане был, сделал вывод, что Казанка наша под двумя богами ходит, поэтому погода неустойчивая. Христос дождь назначит — Аллах переиграет, в Кустанай тучу повернет. И наоборот: нам солнца надо, чтобы хлеб созрел, он солнце — в Целиноград, а нам туманную облачность. Рассказываю вот другу, как наши ребята из плена бежали и статую богини древнегреческой, которая в кабинете коменданта лагеря стояла, с собой прихватили. Не мог русский солдат такую красоту фашистам на поругание оставить!

Кньш посмотрел на хозяина дома: о чем рассказывает гость, все вроде правда, но богиня-то при чем? Ермаков взгляд перехватил, улыбнулся:

— Сказ новый сочиняю про то, как русский солдат Европу спас, весь мир заслонил потной своей спиной, а как сказать, чтобы простому человеку понятно?

Кньш кивнул:

— Красивая история, и сказ будет красивый. Ты, Иван Михайлович, про родной район не забывай, я попрошу культуру, чтобы загрузили тебя встречами.

Ермаков обломком расчески привел волосы в порядок, закурил. Книжки земляка Кньш прочитал все, хотя как-то не особо верилось — полуграмотный мужичок, завклубом работал, погулять любил, — не верилось, что книги пишет серьезные.

— Иван Михайлович, все хочу тебя спросить: ты Михайловскую школу помнишь, Ваську-хохла вакаринского, которого от ребят защищал?

Ермаков медленно жевал огурец и мучительно напрягал память, но так и не ответил.

— Ты тогда еще про свое родство с Ермаком Тимофеевичем рассуждал.

Писатель оживился:

— Про это помню и всегда интересуюсь, даже горжусь, что фамилия от атамана пошла. Ты, Василий, про Матвея Путилова подвиг на фронте знаешь? Страшное дело! На войне всякого насмотрелся, но такого даже не слышал. Матвей наш, ильинский родом, и было-то всего ему девятнадцать, в связистах служил. И вот как-то в Сталинграде — связи нет! Он ползет, ранило его в руку, но скручивает концы провода, а его снова рвет осколком, и опять в руку, уже обе перебиты. Он тогда в зубах провода зажал... Умер, а по нему связь с войсками шла.



Ермаков отхлебнул глоток водки, закашлялся.

— Я приехал пройти по той земле, где этот человек первый шажок наострил, первое слово сказал. Время сменилось, а токи идут через него к нам, я чувю, у меня сердце дрожит. Напишу сказ о Матюше, электрическом мальчишке. Ты, Василий Фёдорович, память его увековечь, пусть люди помнят.

Поговорили о погоде, которая нынче с тонким намеком на хороший хлеб: и подождало вовремя, и в июле хорошие температуры, стебель в колос кинулся, завязь подходящая. Только бы теперь осень не подвела, самое поганое дело, когда вызревший хлеб отгородит природа пеленой дождя, стоит мужик у кромки, с серпом, как прежде, у мокрого комбайна, как теперь, и молчит, в тот момент нельзя с ним говорить, не о чем. По лицу струйки стекают, то ли дождь, то ли слезы. Ермаков поддакнул: осень для писателя — вдохновение, а у крестьянина одна забота: чтобы сухо было, вот и все.

Кньш от вопроса не удержался:

— Иван Михайлович, говорят, ты первому секретарю князем сибирским назвался. Врут?

Ермаков посерьезнел:

— Зачем врут? Я не в сословия гербовые метил, мне сам титул хозяина нашей земли сохранить надо. Я же не сказал — граф или барон, это вовсе мусор для русского человека, а князья — они не просто княжили, они земли приумножали, людей сохраняли, дружинами командовали. Можно так сказать, что по моему скромному офицерскому званию вполне мог на княжеский уровень потянуть. Как смотришь, Василий?

## 10.

...На очередной встрече в писательском кабинете Лагунов предложил отправить теплоходом по Оби группу писателей для встреч с населением. Ермаков согласился сразу, хотя многим маршрут не показался интересным. А ему хотелось увидеть малые народы Севера, узнать их легенды и человеческие судьбы.

Выросший в глухой деревеньке, воевавший в болотах Волховского фронта, Иван никогда не видел большой реки, потому подолгу стоял на палубе и смотрел, как теплоход нежно раздвигает воды, освобождая себе дорогу, и обреченно катятся к берегам поднятые волны.

Ближе к поселку ранним утром он увидел, как рыбаки выбирают сети и какой-то парень, ухвативший за жабры метрового осетра, крикнул одинокому русскому мужику на палубе:

— Эй, таскай литра водки, осетра твоя!

И, не дождавшись ответа, захохотал:

— Рыба нет, щука есть!



Намекает, паршивец, на то, что мы слаще морковки ничего не ели. Иван улыбается: «Надо купить да попросить кока уху сварганить». Ермаков вообще любил рыбу — наверное, это от голодного детства, когда карась, чебак и щука каждый день были на столе в разных видах.

Подходили к поселку, и Серёжа Шумский, завбюро пропаганды литературы, деловой, бородатый и бодренький, торопил:

— Товарищи, встреча прямо на пристани, народ уже ждет.

Действительно, толпа людей стояла у причала. Писатели спустились по трапу, народ дружно ударил в ладоши. Шумский вышел вперед и не успел рта открыть, как раздалось звучное:

— Ты петь будешь или плясать?

Шумский спрятался за спину Толи Кукарского.

...Первыми выпустили поэтов. Стихи читал вдохновенный Володя Нечволода, потом деловитый и серьезный Коля Денисов. Дошел черед до Ермакова.

Легко поэтам! Есть три-четыре звучных стиха — вышел, прочел, сорвал аплодисменты. А прозаикау каково? Читать свои книжки не станешь. Но у Ивана был другой подход. На каждой встрече он интересные истории рассказывал из жизни, озорные, веселые, грустные, иногда горькие до слез. А сегодня вспомнилась ему Доня, Денисья Гордеевна, вот уж двадцать лет ждущая своего мужа и своего сына с войны. И рассказал он жителям прибрежного поселка, ненцам и хантам, русским и иным народам, как жила малая деревенская семья: жена Денисья, сын Алёша и муж Афоня, гармонист и придумщик, злой табак курил, по сорок колец дыма грудь вмещала, только ухом дым не пускал.

Та-ба-чок — вырви глаз,  
Подходи, рабочий класс!  
Курево — не пьянство,  
Подбегай, крестьянство!

— Вот такие частушки сочинял и пел, в избе-читальне народ веселил, спектакли сочинял и с друзьями разыгрывал. Вздумалось ему попа местного «продернуть» со сцены, сочинил он историю, сам взялся попа исполнять. Но надо заметить, что поп был огненно-рыжий, а парика такого у Афони нету. Все двory обошел, всю скотину обследовал — нет ничего подходящего. Вдруг увидел собачью свадьбу, а в своре рыжий кобель активность проявляет. Вот и стал его Афоня приманивать калачом, не с первого раза, но получилось, до сучки гулящей самец добраться не может, а калач вот он — ешь не хочу! Пока пес калач глотал, Афоня овечьими ножницами ему всю спину оголил. Дома отрезал лоскут холстины, столярным клеем куски собачьей шерсти наклеил. Подсохло, натянул на голову, глянул в зеркало — вылитый поп!

Народ на пристани уже понял и принял рассказчика, рты раскрыли — слушают, смеются.



— Вечером представление, народу набилась полная читальня. А смысл пьесы в том, что богатый мужик решил священника угостить и выставил перед ним большое блюдо осетровой икры. Ну, понятно, что в блюде каша с черникой для вида. Поп вилку отодвинул и ухватил большую ложку, да по полной, по полной! Хозяин в смятении, намекает: «Батюшка, ведь это икра, а не каша!» А тот отвечает: «Вижу, сын мой, господь тебя отблагодарит!» — «Икра дорогая, по рублю фунт!» — «И стоит, стоит, хорошая икра!»

И в это время Афоня видит краем глаза, что к самой сцене подобралась та самая сучка, за которой рыжий кобель гонялся. Смотрит на него, и аж слюнки с языка скатываются. «Это она жрать хочет, — подумал Афоня. — Каша ее завлекает». А собачка смотрела-смотрела, да как взвыла, да как метнулась на сцену, и вместо каши парик с Афони сдернула, вся заходится в любовном экстазе. Народ в зале по полу валяется от смеха, сучка в досаде парик рвет, а Афоня с горя махнул рукой: пропала постанка! Вот такой приключенческий был мужичок.

Оба с сыном Алёшей ушли на войну, по разным фронтам разбросало. Воюет Афоня, на привалах байки травит, любят его солдаты. Жалко, тальяночки нет, а то бы сыграл и спел.

Ты играй, играй, тальяночка,  
Играть бы тебе век.  
Не тальянка завлекает,  
Завлекает человек.

Подошли к Днепру с боями, и уж понятно, что надо форсировать с ходу, только очень мало плавсредств. И каждый солдат кумекает, как быть. Афоня тоже соображает: Днепр — не Марковичи... А тут выкликают бойца, который умеет свиные туши обрабатывать. Афоня отозвался, хорошим маркитантом считался на родине. Оказывается, отступая, немцы не сумели погрузить семь крупных свиных и пристрелили их. Афоня деловито туши обследовал и доложил, что еще теплые, можно свежевать и в котел. Сам внутренности вынимал, а как дошел до пузыря, вспомнилось детство, когда пузырь этот в золе выкатывали, сушили, потом горошины вовнутрь пускали — и к кошкиному хвосту. Кошка бесится, а ребятне весело. Пузырь! Собрал Афоня все семь пузырей, круто подсолил и в банку. На досуге обработал, подсушил и надул. Ночью, чтобы никто не заметил, сходил до речушки, пузырями обвязался и в воду — держат!

Утром построение, генерал приехал посмотреть, как батальон переправляться планирует. Где плот, где лодка, а тут стоит боец маленького роста, весь пузырями обвешан. Оживился генерал:

- И далеко собрался на пузырях?
- Форсировать Днепр!
- А доплывешь?

— Всенепременно, уже опробовал!

Генерал обнял Афоню осторожно, чтобы пузыри не порвать: «Спасибо, боец, ты доказал, что русского солдата ничто не остановит! До встречи на том берегу». Но встретиться не удалось, на третий день боев схватил Афоня пулю прямо в живот. Хирурги брюхо разрезали и понять не могут: на немецкой пуле — советский гривенник! А гривенник тот вложила Доня в картошный пирожок, который передала с земляком-однопольчанином...

Когда пирожки с товарищами уплетал, почувствовал Афоня, что со звякало во рту, но разбираться некогда, скоро команда на форсирование. Вот этот Донин гривенник и спас любимого мужа. Не попадись он — раздробила бы пуля позвоночник...

Ермаков волнительно поклонился и отошел в сторону. Владислав Николаев обнял его и шепнул:

— Иван, откуда это у тебя? Никогда раньше не рассказывал.

Ермаков улыбнулся:

— Так, наверное, могло быть.

К ним подошли несколько мужчин, один, ненец, сказал:

— Ты солдат, и я солдат. Ты правду рассказал о Днепре. Я выжил, много хоронили. Помянем.

Налили по стакану водки, выпили, закусили вяленным сырком. Женщины принесли в корзине рыбы, почищенной и подсоленной. Пассажиры и писатели поднялись на борт, теплоход дал прощальный гудок и отвалил.

В каюте выпивка продолжилась — сначала под соленую рыбку, потом под приготовленную коком уху. Как всегда, вспыхнули литературные споры, поэты словесно сражались за своих кумиров, прозаики изредка вставляли едкие замечания. Ермаков молчал, он считал такие споры бесполезными, пустыми и даже вредными: создание и обслуживание кумиров убивало самого автора. Разошлись за полночь.

Перед утром Ивана подняла обострившаяся боль в желудке — старая история, еще с войны. Таблетки не помогали, появилось кровотечение. Ясно: открылась старая язва. Его высадили в небольшом поселке, «скорая» подошла к самому причалу. Врач выслушал и осмотрел, предложил отправить в районную больницу, возможно, нужна операция.

Пациент успокоил:

— Никуда не надо ехать, лечи на месте, это не в первый раз.

Через три дня боли утихли, на пятый — Иван поел теплого картофельного супа. Попросил бритву — зарос за неделю, а своя где-то в дорожной сумке у сестры-хозяйки. Медсестра пообещала принести бритву. Молодой ненец Василий, лежавший на соседней койке, подсел к Ермакову:

— Ты ихней бритвой не брейся, они ей баб в роддоме бреют. Совсем врач совесть потерял! В тундре был один врач, Володя-Хаерако, Володя-Солнышко, других больше нет. Какой был врач! Народ лечил от злой болезни, сам заразился, все равно ездил по тундре и лечил, пока не умер. Народ помнит.



Ермаков вздрогнул: вот сюжет, достойный внимания, вот наш советский герой, совершивший бескорыстный подвиг, о котором знает только спасенный им народ!

Он уточнил у Василия:

— Когда это было?

Василий махнул рукой:

— Шибко давно. Я ружье в руках не держал, маленький был. Отец с войны пришел.

— Вот с этой, с фашистами?

— Наверно. Медаль видел, Сталин нарисован.

Получается, что эти события происходили уже после войны. Иван рассуждал: если Володя был фельдшером, значит, окончил какое-то учебное заведение. Какое? Медицинские училища были в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ханты-Мансийске, возможно, в Салехарде. Надо срочно с ними списываться и уточнить, куда был направлен на работу этот мальчик. Письма он написал прямо в больнице, сам унес на почту, спросив юную ненку, дойдут ли отсюда письма до адресатов.

Девушка улыбнулась:

— До Москвы даже доходят...

Первым же парходом Ермаков отправился домой. Тоня встретила на пристани, взволнованная и радостная. И по дороге домой он рассказал все, что ему известно о легендарном Володе-Солнышко. Где бы ни был, чем бы ни занимался — ждал письмо то единственное, которое позволит начать поиск. Ответы прислали несколько училищ, но ни в одном не было сведений о молодом человеке по имени Володя, учившемся во время Великой Отечественной войны.

Иван места себе не находил, Тоня его успокаивала, а потом сказала:

— Если он работал на Ямале, то в окружном здравотделе должны быть сведения о нем.

Иван расцеловал жену и побежал в облздравотдел к своему доброму знакомому, фронтовому доктору Ю. Н. Семовских! Тот был изумлен рассказом Ермакова и сразу заказал по телефону Салехард, окружному начальнику кратко изложил суть дела: надо поднять документы 1945—1948 годов и найти приказ о приеме на работу фельдшера Владимира.

— А фамилия? — уточнил коллега.

— Послушай, дорогой, если бы я знал, назвал бы без твоего вопроса. Подними всех, надо срочно найти. — И уже к Ермакову: — Водки не предлагаю, коньяк тоже. Чай?

— Ничего не надо, Юрий Николаевич.

— Давай без церемоний. Ты когда напишешь про моего коллегу из Ахманки? Достоинейший мужик! Я про Яковлева.

— Винюсь, все собраться не могу. А Евдокимом Яковлевичем восхищен. Сам видел, как офицеры посылки набивали немецким реквизиру-

ванным барахлом, а этот слал домой инструменты медицинские, аппараты, лекарства. Обязательно напишу, не стыди меня больше.

И длинный-длинный междугородний звонок. Семовских схватил трубку:

— Салехард? Диктуй!

И что-то записал своим совершенно неразборчивым врачом по черком. Поблагодарил, положил трубку, глянул на Ивана:

— Владимир Павлович Солдатов, родился 15 ноября 1930 года, окончил Тобольскую фельдшерско-акушерскую школу в 1947 году, попросился на работу в районы Крайнего Севера, 1 сентября того же года назначен заведующим фельдшерским пунктом колхоза имени Кирова на мысе Вануйто. Уволен в связи со смертью 3 февраля 1948 года. Все.

Иван быстро все записал, а на следующее утро после разговора с Лагуновым, который горячо поддержал идею товарища, Ермаков оформил командировку пока до Тобольска, но денег в подотчет у Зины попросил много, потому что в любом случае надо было лететь в Салехард. В Тобольске райком партии дает машину до Карачино, родины Владимира. Близких никого нет, отец Павел Дмитриевич умер, когда Володе было только двенадцать лет, и он, рыбак и охотник, стал кормильцем семьи в те голодные годы. Мама Александра Яковлевна скончалась совсем недавно. Но Володю односельчане помнят:

— Работящий. Не полежит, бывалочи.

— Все в больницу играл, врачом себя видел.

— В деревне его звали маленьким охотником.

Невелика информация, а все же следок обозначился, на хорошего человека вывела его судьба. Из Тобольска улетел в Ханты-Мансийск, оттуда на Салехард. В окружном отделе ему сказали, что главный врач из Пуйково вышел на пенсию и уехал куда-то под Ленинград. Это он направил Володю в колхоз, советы давал по рации. На второй день писателя отправили в колхоз им. Кирова, на Кутопьюганский рыбоучасток. Двадцать лет прошло, многие помнят лекаря Володю-Хаерако.

Сидят кружком мужики, старые рыбаки, охотники, с холодными лицами, кажется, лишенными страстей. Но заговорил Ермаков, и потеплели глаза, потянулись за трубками, дым струйками вознесся к небу. Говорили по очереди, кто что помнил.

— Приехал в сентябре, совсем холодно было. Мыться заставлял, потом вши ловить.

— Печку поставили, бочку, туда бросают одежда, костер разводят. Вши жарили. Володя пугал, что вошь — самый страшный зверь.

— Потом болезнь пришла. Человек горит-горит — и совсем тухнет. Володя ездил по стойбищам, заходил в чумы.

— Люди умирали каждый день. Много.

Ермаков выбрал момент:

— Хаерако, солнышко. Кто так назвал его? Почему?

— Василий Езынги был, сильно болел, сознание уходило. Приехал лекарь в белом халате, Василий открыл глаза: «Хаерако! Хаерако!» Это солнышко по-нашему. Вот так и стали звать — Володя-Солнышко.

Общими воспоминаниями восстановили картину того страшного января 1948 года в разных местах болели люди, даже крепких охотников валило с ног. Высокая температура и внезапное падение, боли в мышцах, увеличение внутренних органов, желтушное окрашивание кожи. Молодой специалист метался: грипп, инфекционная желтуха? Ничего не помогало, люди умирали один за другим. Наконец в очередной радиосвязи с главным врачом Пуйковской больницы Э. В. Линде ситуация проясняется: по полученным из Тюмени результатам анализов диагноз страшный — возвратный тиф. Его не было в этих краях 40 лет. И вот вернулся... Линде дает советы и успокаивает: «Потерпите немного, помощь идет из Тюмени и из Москвы. Высылаю вакцину».

Фельдшер Солдатов на нартах едет на стойбища, ставит уколы, настаивает на прожарке всей одежды и обязательной горячей бане для здоровых. Предубеждения с трудом, но ломаются. У прожарки уже очередь. Владимир чувствует, что заразился, но вида не подает, продолжает работать. Из Пуйково выезжает доктор Линде. Опоздал. Или серые олешки медленно бежали?

Трое суток здоровые мужики били могилу Володе на мысе Вануйто...

Писатель подошел к начальнику участка Соколовскому:

— Есть кто на мысе Вануйто?

— Никого.

— Как далеко до него?

— Водой три часа ходу.

Иван садится в бударку Александра Пандо. Три часа ходу. Три часа волнения и ожидания. Рулевой показывает на берег: гребень увала круто спускается к озерам Хасрю и Хаммойсо. В тесном окружении полярных березок одиноко спрятался тоненький столбик, по грудь высотой, сверху заострен. Пандо говорит, что звездочку приколачивали, но ветры сорвали. Все-таки двадцать лет...

Ермаков взял прихваченный с собой топор, подрубил березку, обтесал дощечкой, уцелевшими полуржавыми гвоздями зажал эту дощечку, на влажном затесе комелька написал химическим карандашом: «Володя Солдатов». Все, можно возвращаться домой. Попрощался с могилой Хаерако-Володи, с новыми друзьями — и на Салехард. В самолете все события выстроились в тот ряд, который нужен был ему для очерка. Оставалось сесть за стол и записать все, что в душе и на сердце.

Очерк он читал студентам Тобольского медучилища. Напряженная тишина в зале. Читал сдержанно, чтобы не сорваться. Когда закончил, все встали, гром аплодисментов потряс зал. И на излете уже тонкий девичий голос:

— Присвоить училищу имя Володи Солдатова!





Какой гром породила эта тоненькая молния! Ермаков уже не мог сдержать слез...

В апреле 1969 года Ермакову позвонил Щербина:

— Иван Михайлович, спешу поздравить и поблагодарить, мне только что сообщили: Тобольскому медучилищу присвоено имя вашего героя. Так, минутку, я по тексту: «...и впредь именовать его — Тобольское медицинское училище имени Володи Солдатова». Спасибо, дорогой Иван Михайлович, вы не просто написали хороший очерк, вы совершили гражданский подвиг.

К 50-летию Ленинского комсомола на мысе Вануйто силами ямальской молодежи был установлен пятиметровый обелиск со словами: «Сыну ВЛКСМ Володе Солдатову — рыцарю в белом халате, отдавшему жизнь не выпуская из слабеющих рук сумки с красным крестом».

## 11.

Среди недели Ермаков выбирал один день и с утра шел в отделение Союза писателей как на работу. Зина встречала, выкладывала папку с рукописями, принесенными или присланными по почте. Опытным глазом Иван Михайлович просматривал тексты, что-то откладывал, что-то оставлял в Зининой папке. Так постепенно накапливались материалы для очередного совещания-семинара начинающих авторов, который проводили среди зимы в два, а то и в три дня. Лагунов средств не жалел, приглашали рецензентов из Свердловска и даже из столицы.

Так в руки Ермакова попала рукопись студентки Тюменского индустриального института Анны Неркаги.

Большой знаток и ценитель слова как единственного строительного материала писателя, Ермаков сразу увидел, скорее почувствовал, самобытность этого еще неровного письма, за которым просматривался талант видеть жизнь своими глазами. Кое-что знавший о жизни и быте ненецкого народа, Иван Михайлович читал рукопись и устыдился того, что он для себя выдавал за знание, настолько сочными, красочными и неожиданными были описания тундры, детских забав северных ребятишек, стойбищ и кочевий.

Дождавшись Лагунова, он передал ему рукопись:

— Константин Яковлевич, здесь нужен твой авторитет. Девчонка, безусловно, талантлива, и надо с ней работать.

Произведение Анны обсудили на семинаре, говорили много хороших слов этой маленькой девочке, которая молча выслушивала всех. Лагунов сказал, что после доработки будет рекомендовать книгу одному из московских издательств. Книга «Анико из рода Ного» вышла в «Молодой Гвардии» в 1977 году, Ермаков уже не мог видеть ее.

— Опасаюсь, — сказал он после того семинара, — что оторвется от родной земли, а без этого не сможет писать. Город — враг писателю, который живет словом народа, город сушит...



Так получилось, что девушка вскоре вернулась в родную тундру и написала несколько книг, признанных лучшими работами о северном крае.

Ермаков отказывался участвовать в публичных акциях осуждения Солженицына, но он был русским советским писателем и гражданином, потому и «Один день Ивана Денисовича» тоже не принял, как не принимал издаваемые Самиздатом другие писания этого автора. Поэтому ничего странного не было в том, что на очередной семинар молодых он попросил приехать Василия Матушкина, одного из рязанских писателей, только что исключивших Солженицына из Союза. Лагунов хотел возразить, но Иван Михайлович ответил:

— Костя, мы же не политикой тут занимаемся, а литературой. А у Матушкина огромный опыт работы с молодыми.

В ходе семинара прозы, который вел Матушкин вместе с Ермаковым, много добрых слов было адресовано рассказам журналиста Анатолия Савельева, Юрия Надточия.

Ермакова заинтересовал небольшой рассказ казанского земляка Николая Ключева «Проводины», описание проводов парней в Советскую армию в одном из сел:

— Я бы тебе, земляк, посоветовал — сделай несколько вот таких «ритуальных», что ли, рассказов: свадьба, школьный выпускной, похороны, наконец, без натурализма, а с психологией. А в этом рассказе у тебя хорошо про уху из молоденьких окуньков. Вкусно!

Лагунов поддержал и даже рекомендовал Ключева для поступления в Литинститут. Так вот этот землячок прислал Ермакову письмо, в котором сетовал, что на семинаре по текущей советской литературе он пытался рассказать об Иване Михайловиче и его «Богине в шинели» и других книгах. Реакция студентов была странной: во-первых, все решили, что Ермаков, да еще Иван — это псевдоним какого-то Пупкина, а историю спасения статуи греческой богини при бегстве пленных из концлагеря вообще высмеяли.

«И я понял свою ошибку, — писал Ермакову студент. — Ваши сказы надо читать целиком, вырванные из ткани всего произведения фрагменты не воспринимаются. Потому на следующую сессию я привез все ваши книги, ребята читали и восхищались вашим стилем и языком. Я буду писать курсовую работу по вашему творчеству, потому прошу ответить на вопрос, где вы берете такие слова, совсем забытые, и они у вас оживают? Истории тоже от кого-то слышали или сами придумываете?»

Ермаков улыбнулся: хороший парнишка, надо написать.

И написал: «Вообще-то я всех вопрошающих отсылаю к своим произведениям, там ищите ответ, и он там есть. Но тебе, как земляку, отвечу: слова эти народные, вернее русские, — внутри меня, и, когда их зовет строка, чувство, они выходят из строя — два шага вперед! — и дают себя опробовать на вкус, на запах и на современность».

Ермаков не любил разговоров об особенностях своей творческой работы, а если при нем возникали — одергивал. После очередной поездки на Север и встреч с читателями в «Тюменской правде» появился новый сказ Ивана, да еще в трех номерах.

Владислав Николаев, один из близких друзей, возмутился:

— Иван, ну совесть надо иметь! В одних залах были, с одними людьми встречались, одну водку пили, наконец, — у нас четверых только похмелье, у тебя сказ. Как?

Ермаков улыбался... Товарищи замечали у него такой прием: на встречах писатель начинал рассказывать какую-то историю, о которой никогда раньше не вспоминал. Слушали, смеялись, сострадали. А потом в очередной книжке эта история — в основе нового сказа. Ермаков на слушателях проверял, как будет восприниматься, на слушателях оттачивал слог и слово, чтобы меньше править на бумаге. Практика уникальная, и владел этой способностью Ермаков в совершенстве.

*(Окончание следует.)*



Александр ГУТОВ

## КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

### Комета

Знаки карты линии засечной  
посреди ковыльника густого;  
налетает вдруг гирлянда света,  
громовой прибор,  
затрясет вагоны — это встречный,  
он огни кидает до Ростова,  
яркая, слепящая комета,  
может быть, природы сбой.

Завтра утром в окна — запах росный  
залетит в мой малый рай купейный;  
завтра скорый сбавит обороты,  
лопасти замрут.  
На фасаде прочитаешь: «Грозный»;  
принесут сюда прибор кофейный,  
нас числом в вагоне меньше роты:  
обслужить — не труд.

Грянет речь гортанная с платформы —  
сплав шипящих, режущих согласных;  
снова путь, — далекая завеса,  
это показался контур гор.  
В окна выше среднерусской нормы  
залетает хор подростков праздных  
посреди предместий Гудермеса,  
где их вечный сбор.



Дымчато-сиренев ломкий контур,  
вот уже он тянется привычно;  
там в ущельях джинн сидит в засаде,  
мхом оброс и врос в скалу.  
Распласталась степь до горизонта —  
словно проверял всевышний лично,  
каждый бугорок, пройдя, разгладил, —  
пестрый коврик на полу.

Семьдесят восьмой — пугают числа;  
от него сюда — года разлома.  
Семьдесят восьмой — в разгаре лето,  
семьдесят любой.  
И страна, как в затыжном, зависла,  
из-за гор еще не слыша грома;  
странная, слепящая комета —  
может быть, природы сбой.

### По мотивам Переса-Реверте

Неровные ряды, порой высокий том —  
забытые следы в какой-то старый дом,  
готический привет, величие Рамзеса.  
Завшивевший отряд их выстроил админ;  
на корешках горят то охра, то кармин  
от Сафо до «Процесса».  
Есть в слове «прошлое» потеря буквы «р»,  
Гомер, Вольтер, камин, величие химер.  
Ушел герой и запер дверь бесповоротно.  
Они чуть-чуть смешны, они ровняют ряд,  
то охра, то кармин на корешках горят  
повзводно и поротно.  
Не вынесет двоих уставший россинант,  
да даже одного, ему на шею бант —  
и в старческий приют, пусть щиплет себе травки.  
Достать такой кирпич, что совершить обряд.  
То охра, то кармин на корешках горят —  
мундиры для отставки.  
Нездешний драматург припишет эпилог.  
Ряд досок и альков почти под потолок  
из темного и прочного ореха.  
Слегка поблескивают плоскости стекла,  
В них дремлет вертикаль Харонова весла  
И слабое готическое эхо.



## Старая монета

Бронзовый кругляш, окно, зеница,  
в мелкий рубчик черный ободок.  
Единица, восемь, единица,  
мелкой двойки — цифровой итог.

Тяжелит ладонь, а это просто  
две копейки — невелик соблазн.  
Бронзовый, сюда доплывший остров,  
Полифема выколотый глаз.

Колесо, корона, колесница —  
круглые имперские слова.  
Единица, восемь, единица,  
в довершение — маленькое «два».

Бронзовый кругляш, по номиналу  
две копейки, — мелочевка, тля.  
Он неинтересен криминалу.  
Пятьдесят дотянут до рубля.

Цифра, словно гнутая граница,  
повторяет сектор ободка.  
Единица, восемь, единица.  
Двойка — острый выгиб хоботка.

## Читая Мандельштама

Что хочешь ты от них  
в эпоху скоростей?  
Их надо запереть:  
весь этот ворох книг,  
прочитанных статей, —  
рыбачья сеть.

Сейчас, куда ни брось, —  
неважен твой улов:  
цитаты, даты, тлен, —  
толкуют вкривь и вкось;  
решетка черных слов —  
твой иудейский плен.

Сплошь катакомбный мрак  
каких-то темных ниш,  
томов тяжелых вес.  
Творцы распались в прах,  
осталась груды лишь  
словес, словес, словес.

Глотаешь их слова,  
как влагу в полость льют,  
когда стоит жара;  
как неподвижный вол,  
язык во рту комол,  
и губ трещит кора.

### Культурный слой

Он тонок тонок но на самом деле бывает до семи как дни в неделе  
число патронов старого нагана двенадцать пэры вкруг столешницы Артура  
апостолы и близкая фактура до тридцати число патронов акэема  
в сто тридцать пять — число холодных игл Милана он бесконечен  
как питомцы Брэма  
он под ногой — кирпич раствор щебенка состав другой сгоревшая избенка  
он мусор старый шкаф кусочки грязи другой состав подгнивший сруб вне связи  
с вчерашним креслом выброшенным томом романа ставшим как страна фантомом  
тетрадки школьницы чей путь дальнейший темен игольницы когда-то шить умела  
порой он вызывающе нескромен белеет ткань что прикрывала тело  
и стала тряпкой выцветшей как фреска часы чья гравировка потемнела  
отжили время вот судьба отрезка а не прямой но все в культурном слое  
становится сумой тюрьмой бывшее не ожило ни прописи ни ноты  
алло алло топчи их рай Аттила во всеоружии явились готы  
что ж римляне увы не подфартило смотрю как иностранец на сугробы  
носком пинаю резко чье-то фото почетной грамоты заляпан звонкий глянец  
культурный слой слой самой высшей пробы



---

Дмитрий МУРЗИН

## ТОПОРУ ТОПОРЫ ТОПОРОМ

\* \* \*

Что нам в кипрстве, майоркстве, канарстве?  
Даже сниться не хочет покой.  
Мы живем в правовом государстве.  
То есть — держим топор под рукой.

Может, будет получше, почище  
Через год, через век, а пока —  
Держим руку мы на топорище,  
Топорище сжимает рука.

Вечно брезжит над нашей державой  
То рассвет, то пожар, то погром...  
Как сказал бы Булат Окуджава,  
Топору топоры топором.

Невозможная Родина наша,  
Где сегодня страшней, чем вчера,  
На открытом огне варит кашу,  
Разумеется, из топора.

\* \* \*

пока прогреется паяльник  
для мелкой пайки  
ко мне в фейсбук придет начальник  
поставит лайки  
под записью что все тщета  
и понедельник  
и что работы до черта  
и мало денег



что мир как водится жесток  
се — место боли  
и вьется синенький дымок  
от канифоли

\* \* \*

Господь, свинью сооружая,  
Соорудил ее нелепо:  
Свинья хорошая, большая  
Не видит неба.

Свинья живет иных не хуже,  
Несет свой поросячий хвост,  
Она, к примеру, смотрит в лужу,  
А видит отраженье звезд.

Не видит звезд потомок Евы,  
Мычит: мол, скука.  
Господь тебя нормально сделал,  
Так что ж ты, сука?!

### Брюссель

Ходит кто-то по Гран-пласе,  
В меру трезв и в меру пьян.  
Это снова Тёркин Вася.  
Говорит: «Не ссы, пацан!»

Говорит: «Да я не страшный!  
Я не зверь и не бандит!»  
Мальчик, писать переставший,  
В центре города стоит.

\* \* \*

А кто еще не задавал вопросов?  
Порядок слов и беспорядок слов,  
И местоположенье наших снов,  
И чудеса, и вербы на откосах.



Пока мы были сами по себе,  
Служил несчастным частным человеком:  
Поленом, буратиной, дровосеком,  
Писателем, верблюдом при горбе.

Вот мир, а вот сверчок, а вот шесток.  
Страшнее человека нету зверя.  
Я заблуждаюсь. Верю. И не верю.  
И лестница ведет на потолок.

Потом похмелье на чужом пиру,  
Назойливо — не верите — проверьте —  
Все ерунда! Нет смерти после смерти!  
Казалось бы, я выиграл игру.

Все Божий промысел, все будет по судьбе,  
С рук не сойдет и криво выйдет боком.  
Мне кажется, что я хожу под Богом,  
Молясь за тех, кто сами по себе...



---

## «И ПОЯВИТСЯ САД...»

Ольга ПОЛЯНИНА

Уфа

\* \* \*

Называлось «сады»,  
а тянулись подряд огороды,  
То у самой воды,  
то совсем уходящие в воду.

С бурой отмелью крыш  
то теплиц, то, похоже, сарая,  
За которым камыш —  
нет, конечно, заборы до края,

До огней на мосту,  
под которым щебенка и камень.  
В опрокинутом тут  
голубом-голубом с облаками

Заблестит полоса,  
затеряется малая птичка,  
И появится сад,  
и начнет тормозить электричка.

\* \* \*

Апрель — как из окна больницы:  
Пустой, просторный.  
В крошке льда  
Висят наклеенные птицы,  
Кусочек елки, провода.

Как справка с горбящейся строчкой  
Всех окончательных примет,  
Апрель — к дождю, к разбухшим почкам,  
И к листопаду, и к зиме.

## Юлия КРЫЛОВА

*Тверь*

\* \* \*

а эта ночь белеет за окном,  
как некий парус в море голубом,  
и кажется, что на краях кровати  
мы дальше друг от друга, чем в краях,  
что за морем; и пятипалый катер  
на бязевых покоится волнах,  
и мостиком нависло одеяло,  
былую близость между нами для;

и в белое квартиру одевали  
цветущие в июле тополя.

\* \* \*

Когда-нибудь проснешься на конечной  
и вдруг поймешь, что Бога нет,  
ты, как и все, конечен, и, конечно,  
глаза ослепит негасимый свет  
ларчных окон. Местный дядя Петя  
у неуместного тебя обол стрельнет  
и спросит о поступках тех и этих,  
зевнет на этих и на тех зевнет.

Пойдешь ты по заезженной дороге,  
где ни фонарь, ни сердце не горит  
и даже звезды гаснут понемногу  
и ни одна с тобой не говорит.  
Блестит твой путь, тернистый и неверный,  
и ты уверенно шагаешь по нему.  
Как хорошо, что Бог в тебя не верит.  
Как хорошо не верить никому.

### Считалочка

Точка, точка, запятая —  
свой живот я округляю.

Знаю, телом я не вечна —  
вырождаюсь в человечка.

Бог меняет все местами —  
он живет, меня не станет.

## Светлана ПЛАТИЦИНА

Ульмен (Германия)

\* \* \*

Черемуховых холодов  
стеклянный воздух руки студит...  
От сырости продрогший дом,  
весенней отданный остуде,

притих в белесой кисее,  
раскинутой над ним и садом.  
И серебристый бусенец  
линует стекла полосато.

И я в окно, присев к столу,  
гляжу сквозь утреннюю дрему,  
как на дорожке в блюдцах луж  
кружатся лепестки черемух.

И, знаешь, верится с трудом,  
что лишь вчера, в пылице и пыли,  
как пес врывался ветер в дом  
и окна в сад открыты были.

\* \* \*

А помнишь август? Охристым кропят,  
как брызги меда, солнечные блики  
деревьев кроны... И яблокопад  
такой, что к самой катятся калитке

румяные, душистые шары.  
Стучат, удары гулкие чеканят,  
и кубарем срываются в арык,  
и уплывают кверху черенками.

Калиточных петель чуть слышный скрип  
из сада ветер ласковый доносит.  
Но август, что ты там ни говори,  
почти что осень...

# Сергей ФИЛИППОВ

*Москва*

\* \* \*

В этом старом забытом саду  
Тишина и цветов аромат.  
Я порою вечерней приду  
В этот всеми заброшенный сад.

Покосившийся серый забор  
И калитки несмазанной плач.  
Еле слышен чужой разговор  
С по соседству построенных дач.

Здесь свинцовая тяжесть ветвей,  
Что когда-то так буйно цвели.  
Здесь, увы, как и в жизни моей,  
Все тропинки травой заросли.

Я пройду по прозрачной росе,  
Разорвав серебристую нить,  
И заботы, и горести все  
Постараюсь на время забыть.

Летний воздух почти невесом,  
Засыпает заброшенный сад,  
И горит за далеким холмом  
Золотисто-лиловый закат.



Всеволод ИВАНОВ

## ПРОСПЕКТ ИЛЬИЧА

Р о м а н \*

### Глава тридцать шестая

Когда генерал Горбыч в сопровождении майора Выпрямцева и Матвея осматривал фортификационные работы по скату, возле СХМ, в одном из ходов сообщения он обратил внимание на одутловатого и бледного артиллериста. «Трусит? — подумал генерал. — Нет. Хворал!»

И генерал ласково спросил:

— Вы недавно выписались из госпиталя?

Красноармеец понял мысли генерала и ответил:

— Никак нет, товарищ генерал-лейтенант. Я — счетный работник. Рязанской области, колхоза «Пятнадцать лет Октября». Бледность черт у нас, счетных работников, черта природная.

Генерал улыбнулся и, отходя, сказал:

— Немцам, б..., надо сделать ее природной!

— Слушаюсь, — в тон генералу, тоже улыбаясь, ответил красноармеец Динулин.

И он послушался.

Вот как это произошло.

Артиллерийской подготовки он не испугался. Он был подавальщиком снарядов и, держа руки на холодном и чуть покрытом утренней росой металле, стоял возле ящиков, спокойно глядя поверх дула орудия на лесок, среди которого то и дело раздавались взрывы и вскидывались кверху тяжелые глыбы земли и несуразно торчащие куски дерева. Такой обстрел он видывал не однажды, и, зная какие настроены укрепления, он презирал его. Он ждал, когда покажутся танки. На красивом рыжем ящике, размером со снарядные, подобранном где-то в полях Галиции, счетовод Динулин крупным и четким почерком заносил потери, причиненные его батареей неприятелю, а мелким, очень неразборчивым, — потери, нанесенные неприятелем батарее. Последнего никто не просил; просто это повелевала ему его счетная добросовестность. Сегодня он желал записать в «дебет» возможно больше вражеских танков.

---

\* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2016, № 7, 8, 9, 10.

По мере того как поднималось солнце и росла жара, увеличивалась и сила артиллерийского огня. Взрывы приближались. Словно плугом, одна за другой, поднимались глыбы земли и, будто корни, торчали из нее металлические согнутые балки, какие-то железные пруты, какие-то плиты. Все это падало обратно с невыносимым звоном, шумом и лязгом, — и падало как бы прямо на Динулина! Мало-помалу страх начал наполнять его сердце. Он боязливо глядел в лица товарищей: чувствуют ли они то же самое? Они напряженно и ожидающе наблюдали за леском, и ничего, кроме боязни пропустить и не заметить врага, их лица не отражали. Тогда Динулин вспомнил слова генерала о госпитале, и подумал, что, пожалуй, «Микола-угодник», как называли красноармейцы генерала, прав: «Не пора ли тебе, Динулин, в госпиталь?»

Расчеты у орудий падали. Двоих неподалеку начисто снесло снарядом, а двоих подбило. Лица бледнели, несмотря даже на то, что земля старалась пылью и грязью засыпать эту бледность. Динулину было страшно смотреть и на эту бледность, и на самого себя, неведь отчего, перепачканного в известке.

Убили наводчика. Убили командира расчета... От мертвых товарищей еще можно было отвернуться, но нельзя было отвернуться от того, что вышло из леска и то зигзагами, вдоль ходов сообщения, то напрямки, через пулеметные и орудийные гнезда, стремилось вверх. Нельзя было отвернуться потому, что и зигзагами и напрямки оно направлялось на Динулина! Красноармеец знал, что это самый плохой признак в бою, когда начинаешь думать, что весь противник идет на тебя, — но думать иначе Динулин не мог.

— Принимай! — сквозь грохот взрывов и толчки теплого воздуха услышал он рядом.

Он подал снаряд в орудие и взглянул. Раненый, которому санитар перетягивал руку, подавал ему автомат. Тогда на вооружении армии автоматов было еще мало, — подарок стоило оценить. Динулин кивнул головой, положил автомат возле ног, — и как бы стал на новую позицию. Стрелял он из винтовки неважно, но все-таки счел необходимым крикнуть вслед раненому:

— Не подкачаю!

Большие железные машины, формой похожие на ушаты, были ловки и сильны необыкновенно, причем, как казалось Динулину, ловкость и поворотливость машин увеличивается с каждым кругом, проделанным их гусеницами. Они свертывали, словно белье, в жгуты громадные железобетонные надолбы, глубоко заделанные в грунт, а попадая в широкий ров, где им было заказано утонуть или, во всяком случае, забуксовать, потому что грунт там разрыхлен и разжижен, — вылазили только испачканные глиной, сквозь которую просвечивала краска и металл.

Динулин мешкал с подачей снарядов. Ему казалось, что он один, что узел его подавлен, что надо ползти в тыл, пока не приблизились немецкие солдаты, которые всегда идут вслед за танками, будто выводок за уткой.



— Подавай, подавай! — слышал он сквозь взрывы.

— Подаю, подаю! Не мешкаю! — отвечал он, отворачиваясь от двигающихся на него машин и ставя ногу на автомат.

Хватануло! Снаряд попал в танк. Ушатообразная машина закачалась и словно бы взвизгнула. Она сначала подняла зад, затем вздыбилась, — и вдруг пламя изверглось изо всех ее жерл и отверстий, и она, словно картонная, рассыпалась на куски.

Необычайная радость охватила Динулина. Он поглядел в счастливые лица уцелевших товарищей и увидел, что сердца их наполнены тем же, чем наполнен теперь Динулин. И он улыбнулся над своим страхом и над тем чувством неравного боя, которое звенело у него в горле недавно совсем как предсмертный колоколец.

«Миновало, слава богу!» — подумал Динулин, и оно, точно, миновало. Все остальное, что он увидел позже, хотя и должно было б, казалось, внушить ему настоящий ужас, тем не менее не только не внушило ему ужаса, а позволило ему испытать такой подъем и счастье, которого он не испытывал в самые счастливые часы своей жизни. «И бой есть жизнь, и жизнь есть бой!» — твердил он сам про себя только что придуманную поговорку, и ему думалось, что поговорка эта защищает его лучше всякой брони и лучше любого бетона. — «Да, жизнь есть бой, и бой есть жизнь, ко всему привыкаешь».

А привыкать приходилось ко многому!

Огромная облупившаяся машина с трещинами в броне и с одной поврежденной башней простерла над ним гусеницы как раз в то время, когда он поднял было ящик со снарядами, чтобы принести его к орудию.

И откуда он появился, черт его знает? Динулин только одно мгновение смотрел на гусеницы. Кровь, остатки одежд, истерзанное голенище, застрявшее между пластинками, масло, к которому пристали куски темной мокрой земли, — все это вызвало тошноту. Динулину надо бежать! Но куда? Танки носились вдоль окопов, расстреливая их в упор, увиливая от огня противотанковых орудий, которые, казалось бы, подавленные, вдруг выныривали из груды щебня и обломков, извергая снаряды. Не попадешь под гусеницы, очутишься под своим огнем!

Штук бы пять гранат сюда. Гранаты, конечно, остались по ту сторону танка, вместе с расчетом его орудия. При нем был только автомат. Оттолкнувшись этим автоматом от земли, будто бы подбадривая этим себя, Динулин вскочил на гусеницу. Он вовсе не хотел быть раздавленным. Он встал на ее широкие, как у крыльца, ступеньки, с тем же опасением, с каким он становился на эскалаторные ступеньки московского метро, с той разницею, что встал он здесь на четвереньки.

Гусеница подбросила его вверх.

Он вспрыгнул на какой-то уступ, обрезав себе металлом палец на левой руке.

Он лег возле башни танка, той, что была полуразворочена, и заглянул вниз. Разорванный металл так блестел, что ему показалось, будто

он увидел в нем свое изображение. Осколки, разбитое оружие, остатки еще чего-то — все это загромождало вход в башню. Да, куда там войти. Автомата нельзя просунуть. Он ухмыльнулся. Вот положение, не учтенное никакими уставами и инструкциями.

Танк подскакивал. Мимо Динулина, так близко, что чуть было не загорелась рубашка, пронесся снаряд из соседней башни. Он обернул грязным и пыльным носовым платком левую руку и держался ею за дуло, немножко еще торчащее из башни. В правой руке его вздрагивал автомат. Неприятное положение, как кремнистая возвышенность в жару, когда ищешь места, где бы отдохнуть...

Башни, слегка поскрипывая, — танк, должно быть, много поработал на своем веку, — издавали запах масла и пороха. Динулину показалось, что он слышит снизу слова команды, людей, не особенно восхищенных своим положением. Ну, еще бы! Он привстал на колени и огляделся.

И постепенно им овладело чувство, которое может испытать человек, когда, например, приглядится к траве, окутывающей его клубом, и приведет в порядок и классифицирует весь, казалось бы, бесчисленный мир насекомых, жужжащих, жалящих и гудящих вокруг тебя.

Танк, на котором находился бывший счетовод Динулин, вместе с другими танками подавлял узлы сопротивления. Прячась за возвышения или выскакивая, он искал пулеметы и орудия, обстреливающие немцев фланкирующим и фронтальным огнем. Пологий скат походил на лист бумаги, исписанный на машинке. Одни танки, словно карандаши, перечеркивали эту страницу снизу вверх, наискось, другие — зачеркивали строку за строкой, идя параллельно вдоль окопов. Иногда карандаш срывался со строки, падал, и тогда его сменял другой, выскакивавший обычно из лесочка, все еще покрытого дымом пожара.

Динулин стал определять положение: где же находилось его оружие и командир орудия Пащенко, колючий, как крапива, человек, беспорядочный и шумливый и, в сущности, очень неприятный? Но, безусловно, Динулин вовсе не желал ему смерти!

Наконец Динулин узнал это место — небольшой холмик, замаскированный кустами смородины в виде буквы «у». Смородины, конечно, не осталось, да и холмик сполз в сторону... Но — неожиданно холмик зашевелился, мелькнуло острое и милое дуло, — и какой-то танк лопнул как пузырь, Динулин узнал работу наводчика Птичкина, серенького, низенького и невзрачного, к которому необыкновенно подходила его птичья фамилия и которого часто даже звали Птичкин-Воробей или ласкательно — Воробьишко-Птичка.

Динулин решил действовать. «Перед каждым действием — узнай, какую позицию ты занимаешь и какую твой противник». Динулин огляделся.

Одно ему показалось удивительным: где же находилась пехота противника, которая должна занять в таких случаях местность, захваченную танками?

Так как танк часто менял положение, то Динулин, несмотря на пламя, дым и пыль, вьющиеся вокруг, мог определить почти безошибочно, что пехота противника оторвалась от танков и не успела подойти. Наши орудия продолжают вести останавливающую стрельбу по тому берегу реки, где стоит нерешительно пехота немцев. Кроме того, — помимо действия орудий с этого берега, — часть наших орудий на том берегу, пропустив немецкие танки, опять открыла огонь по их пехоте, и этим огнем зажала ее в тиски.

— Лихо!

Прижав к щеке автомат, Динулин, бывший счетовод, продолжал теретизировать. Ясно, что если немецкие танки сейчас не подавят наши батареи на откосе, то немцев или уничтожат, или они вынуждены будут бежать. Но не может же быть, чтобы немецкая пехота не просочилась. Он стал приглядываться. В окопах, оставленных нашими войсками, Динулин разглядел немецкие каски. На следующем развороте танка он увидел, что каски эти, видимо, получив приказание, стали ползти по направлению к Дворцу культуры, с прямой стены которого, обращенной к заводу, видны были сейчас крупные буквы: «Ты взял Фермопилы...» — остальные слова были повреждены снарядом.

Немцев не больше роты-двух... «И это все?!» — подумал он с гордостью и, приложив автомат к телу, стал стрелять по немцам.

Ему всегда не нравилось, как он стреляет, а тут особенно. Но все же немцы падали: то ли уж было такое счастье, то ли автомат хорош?!

Между тем танк, на котором находился Динулин, приблизился к тому холмику, где находилось орудие, командиром которого был товарищ Пащенко, а наводчиком Птицкий-Воробей. Танк приближался осторожно, маскируясь за возвышенностями и горящими деревьями.

Когда Динулин расстрелял все свои патроны, — он узнал, куда крадется танк. Отсутствие патронов заставило его острее оценить обстановку.

Танк приближался к своей гибели. По тысяче признаков, неуловимых для немца, Динулин понимал, что наводчик Птицкий уже «засек» этот танк. Так как Динулин находился на этой грязной и отвратительной машине, то, естественно, он почувствовал некоторое сродство с придурковатыми подлецами, управляющими машиной и стреляющими из нее. «Вот как? — тут же он подумал со злостью. — На меня хотите поставить свой штемпель? Не получите снисхождения, нет! Будет встреча с глазу на глаз».

И он решил принять командование над танком.

Вновь царапая себе руку о разорванный металл, он, опершись на башню, привстал.

И он увидел Дворец культуры, мечущиеся над ним немецкие бомбардировщики, тщетно старавшиеся попасть в него, разрывы наших зенитных снарядов в небе. Он увидел — руку Ленина, простертую на запад с неколебимой твердостью! И чувствуя, что он имеет на это полное право, Динулин сказал Владимиру Ильичу тоном друга: «Будьте покойны, Вла-

димир Ильич, что надо сделать, то сделаем полностью. Пошлете ревизию: она даст полную и благожелательную оценку».

И он увидел надпись: «Ты взял Фермопилы...» Весь день сегодня он пытался вспомнить, что такое Фермопилы. Окончил он семь классов, но Фермопилы, должно быть, лежали в восьмом. Хотел даже спросить политрука батареи, но постеснялся: политрук, несомненно, был менее образован, а вдруг бы дал положительный ответ. А сейчас, глядя на эту поврежденную надпись, Динулин вспомнил страницу географии, где, как ему казалось, он читал о городе Фермопилы. Конечно же! И он отчетливо представил себе этот городок во Франции. О нем много, кажется, писали в кампанию 1939 года? И он увидел собор с острыми шпилями, каштановые аллеи, медленную реку, отходящие от нее каналы... Ну как не помнить такого города? Нет. Ты взял Францию, ты взял Фермопилы, но нас не возьмешь, дудки! И, вспомнив слова генерала Горбыча, он сказал вслух:

— Мы вам, б..., приделаем природную бледность!

И он встал во весь рост и во весь свой голос — через рытвины, канавы, воронки от взрывов, трупы убитых, вопли раненых, через окопы, блиндажи и выстрелы орудий — крикнул наводчику Птицкину:

— Огонь по живой цели, круши их, Птицкин!

Наводчик Птицкин действительно наводил орудие на этот танк, и то, что на танке показался какой-то ошалелый от испуга немец, очень помогло ему поставить правильный прицел.

Птицкин пустил снаряд.

Снаряд попал как раз в середину танка — и счетовод Динулин направился в строгое уединение смерти.

Наводчик Птицкин вытер пот со лба и глаз, взял карандаш и придвинул к себе ящик, на котором счетовод Динулин вел запись уничтоженных батарей танков.

— Прямо рука не подымается, — сказал уныло Птицкин. — Разве у меня почерк! Вот у Динулина был почерк так почерк, при таком почерке...

Птицкин кинулся к прицелу.

Из лесочка выползала новая гряда машин, и рассуждать о Динулине, а особенно об его почерке, было уже теперь совсем некогда. Да к тому же из-за реки на помощь застрявшим на скате танкам спешили пикирующие бомбардировщики.

На простертой к западу руке Ленина, прижавшись плечом к большому пальцу статуи, лежал Лубский, первый из пулеметчиков подразделения, которым командовал майор Выпрямцев. Майор, не без основания, как подтвердилось позже, ожидал, что немцы попробуют пробраться к Дворцу культуры и зажечь его, — чтобы испугать защитников Проспекта Ильича. Поэтому-то майор и рискнул положить лучшего своего пулеметчика на такое опасное место: бомбовозы все время старались попасть в Дворец культуры.

Пулеметчик Лубский глядел на скат, среди пыли, взрывов и воронок стараясь разглядеть фигурки немцев. Камень, на котором он лежал, был горяч, и волны воздуха, плавающие вокруг него, слепили глаза, так же как и слепили и сжимали веки отсветы солнца, плывущие от реки. Пулеметчика волновала та бездна, над которой он висел, и волновала его еще мысль — как будет держаться пулемет на камне, когда он откроет огонь. А вдруг соскользнет?!

На правом фланге танки что-то суетились, явно стараясь прикрыть пехотинцев. Лубский привстал на локтях — и этим словно заглянул за танки. Он разглядел немецких солдат, ползущих к Дворцу культуры.

— Огонь!

### Глава тридцать седьмая

Майор Выпрямцев пришел в блиндаж, где находился Матвей и рабочие — истребители танков. Лицо у майора было вытянутое, пыльное и небритое. Его контузили в бок, и иногда, думая, что другие этого не замечают, он хватался за бок, и лицо его передергивалось гримасой боли.

— Ждем приказаний, — сказал Матвей.

— Еще не прорвались.

— Как еще? — воскликнул кто-то позади Матвея пискливым голосом.

— Я думал, вы люди взрослые, — сказал майор, — знаете, что всяко бывает, а в особенности если враг ваш немец. На танках-то не только окраска под тигровую шкуру, он и сам тигр.

Он протянул вперед руку с растопыренными длинными пальцами и сказал:

— Однако лев побеждает тигра!

Держа руку на весу, он повернулся к Матвею всем своим корпусом и сказал с волжским выговором:

— Нонче, парень, важная ловля. Сколько мы этих осетров по берегу накидали. Богатая путина, парень. Полковнику фон Паупелю сегодня очень большая неприятность причинена, у-ух! Боюсь, что у него волосы на... поседеют.

Никто не рассмеялся. Майор Выпрямцев дотронулся до плеча Матвея и вывел его из блиндажа.

Упоминание о фон Паупеле окрасило все происходящее вокруг Матвея, если можно так сказать, в паупелевый цвет. Слова майора добавили тон к размышлениям, который он не мог подобрать, стоя в блиндаже. Да, чтобы победить, весьма важно видеть врага таким, каков он есть! Полковник фон Паупель враг сильный, хотя бы потому, что, несмотря на все его заслуги и желания, ему все еще не дается звание генерала. Немецкому командованию думается, что слова «полковник фон Паупель» сейчас для слуха врага звучат грознее, чем «генерал фон Паупель».

— Жду приказаний, — сказал Матвей и, думая, что майор не понимает его, добавил: — Имею личное желание встретиться с полковником фон Паупелем.

— Как два поезда врезались мы друг в друга, — ответил майор, быстрым голосом отдав приказание послать резерв к одной из батарей. — Они дали предел насыщения: до двухсот штук пустили на квадратный километр.

С майором поравнялся Арфенов. Связки гранат, отпечатываясь на его гимнастерке, как соты, заполняли всю его неимоверно широкую грудь. Он дышал ровно и спокойно и, видимо, наслаждался этим спокойствием.

— Вот мое приказание, Арфенов, — сказал майор, глядя на Матвея. — Ты пойдешь по ходам, в шестом секторе замолчала батарея... какой там наводчик есть: Птицкин. Просто — алмаз. Да ты кури, кури, — сказал он, увидев в руках Арфенова трубку. — Кури. Теперь, парень, неизвестно, когда второй раз закуришь...

Матвею нравилось то, как майор ведет разговор. Это было совсем другое, когда майор учил бойцов или рабочих-истребителей. Тогда голос у него был неестественно-строгий и повелительный, а в сегодняшнем голосе звучало другое повеление, — его можно было бы назвать повелением сердца. Он не торопился, выбирал время, когда возникала небольшая пауза, и угадывал вместить в эту паузу как раз то количество слов, которое было необходимо ему для передачи его мысли.

Нельзя было не полюбоваться и Арфеновым! Он стоял, выпятив грудь, расставив ноги, красивый, со слегка влажными на висках курчавыми волосами и матово-серыми, прищуренными глазами, — и казалось естественным, когда кто-то сбоку сказал, обращаясь к нему:

— Дай трубку, затянуться... — словно просил не затяжки табаку, а затяжку смелости.

— В шестом секторе замолчала батарея. Поручаю провести к ней смену. — Майор помолчал, давая понять, что расчет у орудия перебит. — Если кинется танк, прикроешь людей.

Арфенов пересчитал людей, которых он должен был провести, и махнул прямо рукой:

— Напрямки быстрее, товарищ майор? — спросил он и, не дожидаясь ответа, выскочил из окопа и, распластавшись по земле, пополз с такой ловкостью, что казалось лицемерием то, что он прежде ходил на ногах.

— Ковер, а не человек! — сказал майор одобрительно.

И как только он сказал эти слова, остальные красноармейцы вылезли из окопа.

— Правильное у Арфенова настроение, — сказал майор. — Пятеро али семеро немцев ползут, чтобы передать сообщение главному танку, Арфенов их в дороге и перехватит.

Совершенно спокойный за то, что Арфенов перехватит связистов и доведет новый расчет до орудия, майор занялся другими приказаниями.

По этим приказаниям можно было понять, что откуда-то из-за прикрытий выскакивали за брустверы красноармейцы и бросали связки гранат, бутылки с горючим или мины под гусеницы приближающихся танков. Людей мяло, жгло, разрывало, гусеницы танков были в крови и мясе, — а люди все выходили и выходили, не пуская танки дальше воображаемой теперь изгороди, — недавно еще совсем состоящей из тонких и гибких прутьев смородинника. Слушая короткие сообщения, Матвей дрожал, несколько раз подбегал к майору, прося, чтоб тот назначил его в дело, но майор грубо отталкивал его и кричал на ухо:

— Твое время придет. Ты жди!

Матвей оглядывался. По окопам пробежали, сгорбившись, рабочие, держа в вытянутых руках винтовки или гранаты, и глядя в их лица, Матвею было стыдно думать, что именно эти люди прозвали его «полковником», ожидая от него помощи. «Ну, какой же я полковник? Стою здесь, как сыч, и хоть бы один разумный совет подал майору?.. Дурак, дурак!..» — твердил он самому себе, стараясь тем не менее сделать такое выражение лица, которое говорило бы, что он занят крайне важным и нужным для обороны завода делом. Раза два пробежавшие мимо на смерть крикнули ему:

— Ничего, выдержим, полковник!

И это слово хлестнуло его по лицу как кнутом. «Полковник?! Вот он сыплет с неба снаряды и бросает их с земли, вот он — полковник! — думал с горечью Матвей. — А я? Чего я добился? Ради чего работал? И не командую, и сам не бьюсь. Стою как дурак. Дурак!..»

Майор подошел к нему и крикнул в лицо:

— Ты что такой хмурый? Немцы-то пятятся! — И он с удовлетворением хлопнул себя по ляжкам. — Знаю, пустят еще эшелоны! А самое главное, первому дать по морде! — И он пояснил: — Если, предположим, скат наш имел бы пять ступенек, террас, то немцы теперь, бывши почти на пятой, отошли на третью...

Видимо выражение это понравилось ему. Он улыбнулся и решил про себя, что так и передаст его целиком генералу Горбычу. Он повторил:

— Попятились на третью... Малость их прорвалась вверх, к Дворцу, да это мелочь, пехота. Я на нее и резервы не пущу танковые, я ее гранатами выбью, если прорвется во Дворец...

— Прорвались уже, сволочи, прорвались! — услышали они возле себя истощный голос Силигуры.

Без шапки, с длинными волосами, облепившими его лоб, с трясущимися бледными губами, с расстегнутым воротом выцветшей и много раз штопанной рубашки, открывавшей костистую и жалкую шею, стоял он перед ними, высоко подняв руки.

— Как же вы, работники культуры, позволяете себе глядеть? — ведь они прорвались! Они к библиотеке прорвались, к статуе Ленина! Они дворец его имени взорвут, зажгут, поймите!..



И не веря, должно быть, что слова эти могут быть поняты Матвеем, он закричал ему:

— Как раз в том крыле, где радиоузел! А там и Мотя, и Полина. Молодые девушки, поймите, Матвей Потапыч! Неужели вы позволите?!

Он опять, вздев руки, кинулся к майору, которого явно раздражал проповеднический, неистовый голос Силигуры.

— Противник какой численности? — спросил строгим, военным тоном майор.

Силигуру нельзя было пронять никаким военным тоном. Хватая всех, кто пробежал мимо, он вопил о культурных ценностях, которые зажгут немцы, о ста тысячах томов библиотеки, что гибель этой библиотеки подорвет репутацию всей армии Горбыча... Майор наконец сказал:

— Товарищ Кавалев, возьми взвод и выбей этих немцев.

И добавил, строго глядя на Силигуру:

— Только вы, товарищ, поведете...

— А как же? Я с радостью. — И Силигура кинулся жать руки майору. — Я все места укажу!

Майору некогда было любоваться или негодовать на странного библиотекаря. Майор сказал Матвею:

— Два взвода. Одного мало. Но чтоб в полчаса локализовать противника, и вернуться сюда. Немцы набиваются плотно. Кажись, вторая волна танков идет. Ты мне еще понадобится, товарищ Кавалев! Снарядов! — закричал он не своим голосом в телефон. — Почему не дали на седьмой сектор снарядов? Под суд!

Но это уже не относилось к Матвею. Майор занялся разрешением другой задачи и забыл о Матвее.

## Глава тридцать восьмая

Рамаданов хотел пойти по цехам, как только началась артиллерийская подготовка. «Успею везде побывать, — уговаривал он сам себя. — Я старик, и когда бы я ни вышел, всегда для меня получится рано». И, рассердившись на воображаемого собеседника, который как бы упрекал его в частых ссылках на слабость и старость, Рамаданов, стукнув кулаком о стол, крикнул сам про себя: «Нет! Я все-таки старик. И по милости этих идиотов немцев мне придется ходить по цехам и делать вид, что у меня не устали ноги. Я пойду, милостивый государь, когда найду нужным!»

Все предчувствовали, что на этот раз после артиллерийской стрельбы последует атака. Рамаданов решил: «Пойду, когда они пойдут». Однако же «старик» не усидел в кабинете и часа за два до атаки немцев, собрав вокруг себя виднейших инженеров и конструкторов и пошутив, что «хоругви подняты», жалуясь на слабость и старость, пошел по цехам.



Едва он прошел два-три пролета, едва взгляделся в лица стоящих за станками, как ему стало неловко, и он подумал: «А я собирался вдохнуть в них дух бодрости и доблести». Лица рабочих были такие же, как и всегда: сосредоточенные, углубленные в свое дело до такой степени, словно они не понимали, что происходит, или же словно они желали подсмеяться над «стариком». Но стоило ему перебраться с ними парой слов, как он почувствовал, что они превосходно сознают ту опасность, которая идет к ним из-за реки, ждут ее, и винтовки, стоящие возле каждого станка, стоят недаром. Один рабочий, пожилой, лет пятидесяти, на прямой вопрос Рамаданова ответил:

— Да ведь как не бояться? Боишься. Но ведь рассуди: бросишь станок, убежишь, тогда еще страшней будет.

Второй, шедший мимо, с длинными, закрученными вверх седыми усами, остановился и сказал:

— Сынок у меня, с бутылкой, в окопе стоит. Хм! Непьющий. Всегда, вишь, думал: отброшу бутылку и спасусь. Хм-м!.. Не знаю, Ларион Осипыч, надолго ль нас хватит, а хватит — мы его (вероятно, врага. — *Ред.*) хватим!..

— Человек не бутылка, хватит подольше! — сказал Рамаданов, который входил в цех с тем чувством, когда в лицо тебе повеет переменный ветер, — наверное, жди потепления. Слова седоусого принесли большое и светлое тепло на его сердце. Усталость, которой ждал он, не приходила. Он шел от станка к станку, от машины к машине, радовался на цифры, отмечающие успехи стахановцев, радовался улыбкам, и сам улыбался такой улыбкой, что рабочие вслед ему весьма одобрительно кивали головами, как бы говоря: наш старик не подведет, бой-старик!

Рассветало.

Скатали черную бумагу. Окна открылись. Хлынул свежий воздух. Солнце явилось уже чуть поврежденное началом осени, словно оно состарилось в эту ночь яростной бомбежки. Бумага трепыхалась от взрывов. Отрывались и, надувшись, летели вдоль рам обрывки ее. Сыпались остатки недобитых стекол.

Рупор радио остановил Рамаданова:

Омерзительный хорек,  
Отвратительный хорек...

Рамаданов узнал терзающий голос Полины Вольской. Ему не нравилась ее манера, ее тембр, но племянницы его, у которых он часто бывал, каждый раз пытались доказать ему, что Полина Вольская — «Орфей наших дней», на что Рамаданов обычно возражал: «Орфей в переложении для цыганского хора. Нет! Беллетристика, а не поэзия!» Поэтому, хоть он ее и замечал на заводе, и Горбыч отзывался о ней одобрительно, Рамаданов мешкал встретиться с нею. Ее появление здесь казалось ему надрывом, «цыганщиной и беллетристикой, от которой отвернулась бы даже любая, самая юная, курсистка». К сожалению, племянницы его уехали в



Москву, а то с каким бы наслаждением он сказал бы им: «Вот-с, до чего доводит ваша хваленая беллетристика!» Как и все, как и всегда, он, — не сознавая этого, — признавал истиной, что теперешние люди стали более трезвыми, чем, скажем, во времена Бальзака, и положения, подобные положению Полины Вольской, суть положения неестественные и потому нетерпимые. Беллетристика!..

...И оружием, и огнем  
Его встретит каждый дом!

Рамаданов с удовольствием слушал пластинку. Не оттого ли, чтобы доказать Полине Вольской нелепость и детскость ее положения? Он как раз находился в том цеху, где начальником был Матвей. Рамаданов взглянул на станок его, за которым должна была сейчас стоять Полина Вольская. Вместо нее у станка сутился какой-то розовый юноша в черных коротких штанах и рубашке с галстуком-бабочкой, очевидно, до смерти влюбленный в Полину.

Значит, в радиоузле-то пела сама Полина? Смело! Правда, цеху и рабочим сейчас не до пенья, да и то сказать — нашли гимн битвы... Но пение входило в душу. Такое пение не повредит доброй славе Полины Вольской, а наоборот... Рамаданов вынул платок, очень растроганный, и спросил сменного инженера:

— Где начальник цеха?

— Ларион Осипыч! Он в окопах, на откосе.

— Кавалев на откосе?

— Ларион Осипыч! А как же? Он у нас ответственный за обучение отрядов самозащиты. Он у нас — полковник, Ларион Осипыч!

— Кто теперь за бывшим кавалевским станком?

— Смирнова.

— Полина?

Сменный инженер поглядел на мастера. Инженер по именам знал только стахановцев. Но раз директор знает ее по имени, значит, она сегодня, может быть, успела создать рекорд? Мастер, некрасивый, рыжий и веснушчатый мужчина, тем не менее пользовавшийся у женщин большим успехом, преимущественно из-за неколебимой уверенности своей, почти профессорской, успокоил инженера. Приятным и ровным голосом он объявил, что П. А. Смирнова на полчаса отлучилась в радиоузел и не возвращается, — мастер поглядел на позолоченные ручные часы, — уже два часа, надо думать, из-за каких-либо «повреждений» в пути. Мастер пробовал поухаживать за Полиной. Она отвергла его. Сейчас ему хотелось подложить ей «свинью», хотя он и не был злопамятным, — просто бомбежка раздражала его: он должен был в тот вечер, пораньше окончив работу, пойти на свиданье. Но мастер понимал, что пронизательный «старик» все поймет, и посему он только сыренизировал.

— Как она выполняет норму?

— Хорошо, Ларион Осипыч. Иногда и до полутора года доходит. Я чувствовал, в ней бродит идеяка, но волнения последних дней поме-



шали ей производственно оформиться! — И мастер добавил спокойно: — Немца отобьем, Ларион Осипыч, тогда она производственно оформится.

Мелкими шажками, закинув назад красивую голову, подошел Коротков. Инженеры почтительно расступились. Коротков, которому казалось, что «старик» долгим пребыванием в цеху Кавалева излишне «поднимает» его, с подчеркнутыми подробностями, дабы показать, что «старик» стоял здесь и ждал долго его, Короткова, стал рассказывать, как идет демонтаж гидравлического пресса «Болдвин».

«Старик», действительно, очень интересовался демонтажем «Болдвина».

Пресс «Болдвин» — дорогая громада в четыреста пятьдесят тонн весом. Чтобы погрузить его целиком, надо шестнадцать больших железнодорожных платформ...

— Шестнадцать? — Рамаданов скорбно всплеснул руками. — Да ведь из шестнадцати у одной непременно буксы сгорят, и ее отцепят и угонят в какой-нибудь чертов тупик...

Рамаданов устремился в штамповочный цех, где стоял «Болдвин».

Не желая делать обхода, он присел, набрал воздуха — и перепрыгнул через окоп, огибавший цех!

— Здоров старик!

— А все жалится.

— Это чтоб молодые не жалились! — слышались голоса позади Рамаданова, и ему приятно было слышать их.

Пресс «Болдвин» привезли из Америки года четыре тому назад. Для его монтажа американские инженеры назначили срок в четыре месяца. Монтаж взялся сделать в два с половиной мастер Никифоров, ныне инженер. И он смонтировал пресс! Рамаданов помнил дождливую осеннюю ночь. Прибежал счастливый Никифоров. У Рамаданова, как всегда в непогоду, ныли суставы и ему не хотелось выходить из теплой и светлой комнаты от мудрейшей книги. Но оказалось, что жизнь иногда веселит больше, чем самая высокая мудрость. Никифоров зашептал, что «надо не дожидаться американцев, Ларион Осипыч, надо самим попробовать, я и форму приготовил: герб наш, понимаете, Ларион Осипыч!» И они пошли по лужам под густым и нестерпимо холодным дождем. В цеху на белой известковой стене висел транспарант с приветствием монтажникам. Лица у всех были торжественные и таинственные, словно они готовились насмеяться над всей Америкой, и еще таинственнее стали они, когда Никифоров положил на широкую и тусклую поверхность, «под» пресс, форму, изображавшую серп и молот в пятиконечной звезде. Оператор нажал кнопку. Пресс медленно и торжественно стал опускать свою верхнюю челюсть...

Как изменилось все!

Какие иные лица! Какая иная таинственность! И как по-иному Никифоров, теперь уже просто советчик, смотрит на демонтаж пресса «Болдвин».



Пресс был строен, легок и похож был на трость, которую какой-то великан воткнул в бетонный пол цеха. Вокруг него всегда весело блестяли детали, приготовленные для штамповки, вспыхивали красные и синие лампочки, на стапелях возвышались «заделы» — детали, перевыполненные по плану, а теперь — тросы, блоки, цепи, какие-то катки на длинных железных полосах и великое множество громоздких, пыльных и кое-где даже уже подернувшихся ржавчиной частей, всего того, что недавно составляло эффектную громаду прессы «Болдвин».

Стараясь отогнать грусть, Рамаданов стал выпрашивать — почему так много блоков и при чем тут катки, хотя он и знал великолепно, почему все это здесь. Выдумщик, песенник и плясун, молодой стахановец Привалов, руководивший демонтажем прессы, стал пояснять:

— Заводы, наши поставщики, Ларион Осипыч, почти что все погрузились и все тяговые средства с собой погрузили...

Рамаданов спросил Короткова:

— Куда они так торопятся?

— На всякий случай.

— Город не возьмут!

— Не в том дело, Ларион Осипыч, что город немцы возьмут, — вмешался в разговор Привалов, — в том дело, что СХМ-то во всяком случае вывезут, а их могут оставить...

— Мы никого не оставляем!

— Не оставляем, верно. А остаться можно. Оборудование все-таки и у них ценное...

— Вот мы своими перевозочными средствами и собираем у них то, что, они думают, останется. Металл, главным образом, — сказал, ухмыльнувшись, Коротков.

Коротков, несомненно, улыбался над суматохой заводов-смежников, которые, зачастую почти без расписок, — а без накладных как правило, — отдавали СХМ весь ценный цветной металл, все тросы, кабеля... Рамаданову не нравилось короткое чувство превосходства! Желая обрезать его, он сказал:

— Если заводам-смежникам откажут в вагонах или составах, прицепляйте к нашим. Там, за линией фронта, разберемся.

— А если из-за них влипнем? — недовольным голосом сказал Коротков. — Если застрянем, Ларион Осипович? Не вывезем агрегат?

— Пробьемся!

И Рамаданов добавил:

— Поручим Матвею Кавалеву сопровождать эшелоны. Он пробьется! Как вы думаете, Коротков, он пробьется?

— Не будем доводить себя до такого положения! — сдержанно ответил Коротков.

— А все же?

Коротков поднял на него глаза. Они говорили: «Между нами, Ларион Осипыч, уже нет вражды. Что-то произошло, я еще не знаю, что,

но ни вражды, ни ревности между нами нет! Причина этого, мне думается, выяснится в ближайшие дни, а возможно, и часы. Поэтому с открытым сердцем я могу сказать: если поручите, Кавалев выведет эшелоны. Но давайте не доводить оборудование до подобного риска».

— Итак, доведет? — со старческим упорством спросил Рамаданов.

### Глава тридцать девятая

— Доведет Матвей Кавалев эшелоны, в случае чего, или не доведет?

Коротков опять вскинул на старика красивые и ясные глаза. «Ну чего ты влюбился в этого Кавалева? — опять спрашивал этот взор. — Зачем ты даешь лишнюю пищу любопытству и толкам? Да, в Матвее есть ум, отвага, великодушие, но нельзя же, Ларион Осипыч, быть до такой степени сентиментальным!»

На этот раз от взора Короткова старику стало не по себе. «Пожалуй, я, действительно, старею», — подумал он. И дабы Коротков не огорчился и решил, что вся предыдущая настойчивость старика — лишь подчеркнутое указание: «мол, не один ты, Коротков, умный человек на СХМ», Рамаданов громко сказал:

— Я говорил нынче по телефону с Наркомом. Заводу, на его узбекском филиале, нужен молодой, крепкий и толковый директор. Местной общественности необходимо втолковать, что к ним переселяются не только люди... Переселяется большая техническая культура! Если Узбекистан осознает такое положение — мы не удвоим, мы учетверим продукцию. Ведь что получается: удваиваем здесь и удваиваем там... Как вы думаете, Коротков?

— Здесь удвоим, а там: не знаю.

— Вот вы поедете туда директором и узнаете. А узнав, удвойте продукцию?

Коротков побледнел и весь выпрямился. «Ну и честолюбив же, дьявол», — с удовольствием подумал Рамаданов. И ему понравилось, что Коротков не стал ломаться, говорить, что он не сумеет, не справится, а просто и ясно заявил:

— Трудность там та, что у них плохо с металлургической базой.

— Другого подходящего места, куда направить наш завод, нету. Металла не хватит? Создайте металл! Металлургов нет? Научите! Мы же рабочие. Мы, дорогой мой Коротков, робинзоны на этом острове, который называется планетой...

В ворота цеха словно кто ударил тяжелым молотом.

Ворота упали.

Ливень осколков, щебня, волны земли — ринулись в цех, калеча и ломая людей, засыпая грязью и пылью части пресса.

Рамаданова ударило о какой-то ящик, перевернуло и снова ударило. Колющая, нестерпимая боль пронеслась по всему телу. «Нет, не конец, — подумал Рамаданов. — Не может быть, чтоб такой больной конец».



Он привстал на локте. Над ним склонились лица Никифорова, Короткова, мастера Привалова, конструкторов. По железной лестнице сверху из кабинета начальника цеха бежал врач, размахивая санитарной сумкой. Луч солнца, освещавший лестницу и игравший на ее отшлифованных ступеньках, упал на эту сумку и осветил узенькую медную застежку.

— Ранен? — спросил Рамаданов.

Лица отступили.

Теперь Рамаданов видел только лицо Короткова. Оно было смертельно бледно, и на эту бледность было крайне неприятно смотреть, потому что она проступала сквозь пыль и сор, брошенные на Короткова взрывом, который он, видимо, не успел стряхнуть.

— Ранен?

— Слегка, Ларион Осипыч, — сказал, глотая слезы, Коротков. — Сейчас перевяжут.

Рамаданов закрыл глаза. Боль все увеличивалась и увеличивалась, Рамаданову хотелось, пока боль не захватила все сознание, сказать самое главное. Но позади, словно какие-то плывущие смутные острова, наплывали совсем ненужные мысли, превращаясь то в камыш с сухими длинными метелками, то в длинную, режущую ноги траву... Куда он идет? Куда он торопится?.. К Матвею? Да, Матвея надо выручить!..

— Осторожней поднимай, осторожней, — услышал он вдруг, и он подумал, что эти заботливые люди напрасно, кажется, стараются поднять его, лучше, пожалуй, поскорее поднять пресс «Болдвин».

Глаза слипались. Рамаданов с трудом открыл их, и сразу же сознание его прояснилось, и он вспомнил то самое главное и важное, что ему хотелось сказать Короткову. Движением бровей он придвинул к себе его лицо и, глядя не на лицо, а на руки врача, которые с невероятной ловкостью и проворством шныряли где-то у его живота, сказал:

— Самое главное?.. Да... Чем все это кончится?.. Да... Я знаю... победой... но как?.. где?..

Боль стихала. «Да, кажется, теперь конец, — подумал Рамаданов. — Раз такое, значит, конец. Он не бывает больным...» Глаза слипались в медленной, неодолимой слабости, Рамаданов открыл их. Теперь он глядел в мокрое и молодое лицо Короткова. «Чего это он? Чему, чудак?» — подумал Рамаданов, и ему стало немного, но совсем немного, жалостью величиной с пушинку, жаль Короткова. Поэтому он, до того желавший сказать: «Несите меня к нему...», подразумевая Матвея, — потому что это был самый близкий человек на заводе, теперь сказал:

— Несите меня... домой...

Он закрыл глаза. Кто-то осторожно дотронулся до его ног, и он почувствовал, что они отяжелели. Мир отдалялся, но был еще близок, и ему очень не хотелось расставаться с ним. С усилием он открыл глаза и увидел теперь перед собой лицо парторга Бронникова, его короткие,

подстриженные усики, белесые глаза, двойной подбородок и потный лоб в глубоких морщинах. Настойчивый, но тугой человек! Рамаданов часто ссорился с ним, потому что Бронников, как думалось Рамаданову, постоянно стремился все сделать по-своему и постоянно плохо. Вот теперь, наверное, понесет директора в партийную организацию, устроит прения... А как дела на откосе? Должно быть, не так плохо, раз они все здесь?..

Рамаданов твердым, как ему казалось, голосом сказал:

— Несите меня домой.

На самом же деле слушающие его видели только чуть пошевелившиеся губы, темные и сухие, и строгое движение бровей. Тем не менее парторг Бронников понял его и приказал:

— Несите его домой!

Он схватил большими руками крошечную головку врача и, обжигая ему уши дыханием, прошептал:

— Операция нужна?

Врач ответил:

— Нужно исполнять последнюю волю. Ни операция, ничто не поможет. Он умрет через час, самое большее.

Бронников сказал, берясь за ручку носилок:

— Он хочет домой. Домой, Ларион Осипыч?

Рамаданов открыл глаза:

— Да!

## Глава сороковая

Луна давно скрылась. До восхода солнца еще далеко. Тем не менее Полина увидела горизонт, накаленный докрасна, при свете которого явственно можно было разглядеть все заводские здания, Дворец культуры, дома Проспекта и даже прочесть на стене Дворца: «Ты взял Фермопилы...»

Город горел. Горели и его окрестности.

Через заводской двор по багровому асфальту проносились санитарные машины, подпрыгивая и кружась среди воронок. Их опережали грузовики со снарядами, спешащие к откосу. Батарея мчалась к Стадиону, куда ожидали нападения танков.

В воздухе послышался треск, — словно разгорался большой костер. Трассирующие пули указывали путь самолетов врага. Неверный свет ракет глодал душу... Полина встретилась лицом к лицу с войной! При каждом взрыве ей казалось, что она и есть как раз та самая ось, вокруг которой вращается чудовищный вал военной машины.

Она бежала по двору, затаив дыхание. Как жаль, что нет входа во Дворец со стороны завода! И как, в конце концов, жаль, что она согласилась пойти в радиоузел! Сменный инженер, метивший в начальники цеха, — он предвидел, что Матвей скоро уйдет, — хотел непременно,

чтобы она дала заметку в радиоизвестия об успешной работе цеха... Может быть, даже намекнула на его работу... Он глядел на нее наглыми и спокойными глазами, и Полина с негодованием, назвав его про себя «подлецом», решила сбежать к Силигуре и предупредить, чтобы он не давал хороших заметок о сменном инженеру Архипове.

Но что теперь Архипов, его мечты о заметке, его жажда места, в сравнении с тем, что происходит здесь? На короткие промежутки взрывы и залпы прекращались. Опускался темно-синий мрак, изрытый морщинами пожарами. Но мрак этот существовал только где-нибудь в промежутке между зданиями, куда забегала Полина передохнуть, в щели окопа или же в какой-нибудь развалине, где необрушившаяся стена манила к себе, коварно обещая защиту.

Ух, как тяжело! Полина с вожделием глядела на Дворец. Почему есть пожарные входы, ворота для ввоза декораций, а нет настоящей двери? Почему надо бежать вокруг, мимо Заводоуправления, а затем полкилометра по Проспекту?!

Когда она выбежала на Проспект, она созналась себе, что именно Проспекта-то она и трусила! Ей казалось, что больше всего немцы будут бомбить Проспект. Однако она насчитала не больше шести-семи разрушенных зданий. Тогда она остановилась, отдышалась и дальше уже пошла медленнее, как всегда, обращаясь с речью к тому, с кем ей предстояло встретиться, хотя обычно эти речи она не произносила, а чаще всего говорила совсем противоположное:

— «Вы, Силигура, личность, остро ощущающая историю. И, конечно, в такие часы я нужна вам не для заметок о работе цеха. Вы подсознательно чувствуете, что сейчас надо говорить о важнейшем. Что же есть важнейшее для меня и для вас? Искусство! Ибо, хотя вы и называете себя историком, методы, которые вы применяете в вашей “истории СХМ”, суть методы художника, а не историка. Поэтому искусство и его задачи важны сейчас и вам, и мне!»

Она мысленно развела руками:

— «Ах, Силигура, как тяжело, как тяжело! Искусство не любит насмешек над ним. Оно за это мстит ужасно! И мне отмищено, ибо ограда жизни должна быть, как и в постройке жилья, выложена из того же камня или дерева, что и дом твой, Силигура. Я надругалась над искусством! Я не поверила, что многое можно сделать песней, а сегодня — день атаки. И — четыре раза в этот день исполнялась по грамзаписи моя песня. Моя! Песня отражала атаку, как и противотанковая пушка. А я думала, что пою “песню торжествующей любви”, в то время как действительно исполняла “песню торжествующей доблести”».

Но что мог ей ответить Силигура? И за ответом ли она шла? Узнав ее артистическую фамилию, Силигура, конечно, растеряется и, самое большее, решится позвонить в радиокомитет, чтобы сообщить им радостную новость — Полина Вольская находится в СХМ. Эту новость может сообщить и сама Полина! Стоит ей взять лишь телефонную трубку.



И тогда ей предложат петь немедленно. Да, это вам не грамзапись! Вы услышите нечто другое...

Мысли ее так разъедали, что она не могла дышать. Она обрадовалась: в бюро пропусков впереди нее стояло пять человек, и она отдышалась.

Бюро пропусков находилось в левом крыле Дворца, там же, где и библиотека. Радиоузел помещался в правом, ближе к мосту. Полина, размахивая белой бумажкой пропуска, четко постукивая каблучками, шла вдоль фасада Дворца. Баррикады из мешков закрывали мост, и только в проходе, поверх упавших тетраэдров, Полина разглядела розовые поручни моста, мокрые от росы. Костлявый лейтенант, оборонявший баррикаду, долго рассматривал ее пропуск. Отсветы пожаров играли на его лице, источенном войной.

— Спешное дело, что ли, товарищ, в радиоузле?

— Значит, спешное, если иду под бомбами.

— И дураки ходят под бомбами, — сказал лейтенант, возвращая ей пропуск и направляясь вдоль баррикады.

Перед тем, как войти во Дворец, Полина подняла вверх голову. Статуя Ленина отсюда видна была великолепно. Темно-зеленый камень ее отливал торжественным багрянцем. Красноармеец, держась за пулемет, свесив голову с руки статуи, кричал что-то вниз, на площадку, где, наверное, стояли другие красноармейцы. От этого уверенного крика приятное чувство бодрости снова зажглось в Полине.

Она быстро поднялась по душной лестнице. Духота усиливалась в передаточной, где находился Силигура, удивленно на нее взглянувший, было совсем нестерпимо. Полина взглянула в глубоко впавшие глаза Силигуры, услышала его хриплый голос, достаточно унылый, — и все приготовленные слова ушли далеко-далеко. Она торопливо спросила:

— Вы меня вызывали, товарищ Силигура?

— Разве на сегодня? — удивился он. — Да, да, товарищ Смирнова!

Представьте, на сегодня, а сегодня как раз атака. Присядьте, пожалуйста. Я сейчас освобожусь!

Он тупо уставился в листок, который, видимо, редактировал. Полина села к нему спиной. Зачем она сюда пришла? Она с удивлением разглядывала комнату, и она казалась ей очень величественной, не смотря на гул сражения, доносившийся из-за завешенных сукном окон. Ей милы были портьеры из серого рубчика, стены — под карельскую березу, лепной потолок с множеством цветущих подсолнечников, а в середине его — нежно-голубое небо, небо детства и искусства. Искусство! С какой нежностью смотрела она на стол, где возвышался микрофон, на ящики, отливающие никелем, на провода, на всю аппаратуру, которая гораздо проще, чем тот станок, на котором она сейчас работает, между тем как именно эта аппаратура передает ее голос, — человеческий голос, самое прекрасное, что только существует на свете.

Силигура сказал:

— Массам, Мотя, нравится «Песня о хорьке». Вот с нее и начинайте концерт.

— Да сегодня ж четыре раза заводили эту песню!

— Значит, массы находят здесь ответ, а раз они находят ответ на свои запросы, я заведу четыреста раз.

Мотя сказала в микрофон деревянным голосом, при звуках которого Полина подумала: «Нет, не быть тебе певцом и диктором не быть»; и сама себя уловила на недостойном злорадстве.

— Начинаем наш музыкальный антракт «Песней о хорьке» в исполнении Полины Вольской, заслуженной артистки республики, граммофонная запись...

Как только Мотя назвала ее имя и звание, Полина встала заученным величественным движением и, плавно шагая, направилась к микрофону! Мотя заметила ее и прежде. Но теперь походка и весь вид Полины были настолько другими, что Мотя, вместо того чтобы положить диск пластинки на уже вращающийся круг патефона, уронила его — и разбила.

Полина не без удовольствия наступила на пластинку каблуком и, притопывая ногой и мысленно аккомпанируя себе, стала петь знаменитую свою «Песню о хорьке», ту самую песню, которую услышал в цеху Рамаданов и из-за отсутствия аккомпанемента к которой он понял, что ее исполняет сама Вольская.

Полина пела с воодушевлением необычайнейшим! Песня натосковалась в ней и теперь вырывалась сильно, плавно и легко, словно желая уведомить о себе весь мир. Да, и Полина видела своим духовным оком весь мир друзей и врагов. Им пела она! Она пела солдатам Англии, повстанцам Югославии, партизанам Польши, австралийцам, дерущимся в песках Африки, матросам соединенных эскадр, пересекающим моря и топящим немецкие корабли. Она пела о своей ненависти в лицо фашистам: германским, итальянским, румынским, венгерским, всем тем, кто поднял оружие против ее родины. О, она много приобрела друзей! Она огорчала врагов, готовых взорваться от злобы...

Вбежал Квасницкий, старый и невеселый. Он за несколько комнат узнал голос Полины Вольской, и ужас, без того охвативший его, только усилился. «Куда он ее спрячет? Тут такая беда... Где мне теперь наводить лоск!»

— Силигура, — сказал он тяжело дыша, — Силигура, голубчик! У меня температура...

И он крикнул Полине:

— Да замолчите вы, Вольская! Ведь я только что выключил радио...

Полина, не слыша его, продолжала петь. Квасницкий, действительно, больной, да это видно было и по воспаленным глазам его, встал с постели, боясь, что новые работники радиоузла в случае опасности забудут все инструкции. Так оно и случилось. Вместо того чтобы снять аппаратуру, они вздумали передавать какой-то идиотский «музыкальный

антракт» и еще ухитрились пригласить Полину Вольскую. И она тоже хороша, дура!..

Квасницкий достал из-под стола давно уже приготовленный лом — и хотел ударить по микрофону, Полина уже замолкла и глядела на него испуганными голубыми и сухими глазами. «Фу, какая духота!» — подумал Квасницкий и ему стало жалко аппаратуры.

— Немцы перебили ребят на баррикаде, — сказал Квасницкий. — Подставили лестницы пожарные и лезут к статуе... Хотят перебить наших у подножия и позицию захватить... Десант, что ли?..

Он выложил на стол три гранаты, которые подобрал у раненых возле баррикады, и сказал, резко повернувшись к Силигуре:

— Силигура! Пока немцы не вошли во внутренность, беги за подмогой.

— Я боюсь, — сказал Силигура, не стесняясь. — Там... танки... Я...

— Мы тут с девушками аппаратуру унесем, а ты беги...

— Я боюсь...

— Побежишь ты или нет, крыса? — сказал, хватаясь неизвестно для чего за гранату, Квасницкий. — Часть их в библиотеку побежала... я видал... Они твою библиотеку зажгут!

— Как же это можно зажечь библиотеку? — спросил Силигура, глядя на Квасницкого сухими глазами. — В ней свыше ста тысяч томов!

— А им хоть сто миллионов! Подождут!

Силигура спокойно спросил:

— А где мне Матвея Кавалева найти?

— Иди на откос.

— А каким путем?

— Да там, кажись, наши танки идут... иди за ними...

Силигура убежал, смешно вздергивая ноги.

Квасницкий стал рубить провода, затем взвалил на себя аппаратуру, положил в карманы гранаты и, тяжело пыхтя, пошел по лестнице. Лунина, совсем молоденькая, круглолицая помощница его, на которую он сильно надеялся, когда на лестнице увидела невесть как попавшего сюда убитого немца, всхлипнула, бросила микрофон на землю и скрылась в первую попавшуюся дверь. Квасницкий выбрал ее нехорошим словом, взял микрофон и, горбясь, пошел дальше.

Они спустились на три пролета, а затем свернули с лестницы в длинный коридор, облицованный синими изразцовыми плитками. Коридор привел их в кухню. На плите еще клочкотала кастрюля, на сковородке горела яичница, на полу валялись халаты поваров, которые они, видимо, сбросили, боясь, что по ним, белым, немцы будут стрелять... Квасницкий пересек кухню. Они пошли по другому, теперь розовому, коридору. Запахло картофелем. Квасницкий открыл дверь в погреб и сошел по лестнице. Только теперь, вдыхая сырой и пахнущий грибами воздух, можно было понять, какая духота наполняет Дворец.



Квасницкий зажег электричество. Лампа осветила длинный и низкий подвал, в котором стоять можно было только наклонив голову. Квасницкий провел их в другой конец подвала, снял доски с какого-то круглого, обделанного по бокам кирпичом, колодца и, малость подумав, стал бросать туда аппаратуру. «Боже мой, ведь он же совсем болен! — в ужасе глядя на Квасницкого, подумала Полина. — Зачем же было нести сюда аппаратуру, если ее надо разрушить?» Колодец, видимо, был глубокий. Проходило секунд пять, прежде чем они слышали шмякающий звук аппаратуры.

Когда Квасницкий сбросил последний аппарат, он вынул гранаты и сказал:

— Вы тут, девушки, подождите. Я к вам Лунину пришлю! — И, уходя, он добавил: — Через кухню один вход, а тут... — Он указал вперед на что-то темное и круглое, чуть заметное в небеленой стене: — ...тут выход, на случай пожара, в декорационную... Да думаю, он с той стороны закрыт.

Он ушел.

Женщины сели на край колодца. В комнатах, когда они бежали, Полина чувствовала себя спокойнее. А здесь — не то сырость, не то низкий потолок, до которого она без труда доставала рукой, — все действовало на нее угнетающе. Она дрожала, и ей мучительно хотелось прижаться к Моте, которая, наоборот, именно здесь чувствовала себя спокойнее, может быть, оттого, что тысячелетия в подобных случаях — предки ее — бабки и прабабки, — прятались в погребах.

— Вам не страшно, Мотя? — робко спросила Полина.

Совсем другим, душевным и глубоким голосом, не тем, каким она говорила в микрофон, Мотя сказала, обнимая Полину за плечи:

— А чего ж страшного, Полинька?

— Сыро, грубо... отвратительно.

— Смерть — она не сырая. Это жизнь сырая, а смерть — она сухая, — сказала Мотя тем же другим, нежным голосом. — Только ты о смерти не думай, Полинька. Я уеду.

— Куда вы уедете, Мотя? — удивленно спросила Полина.

— А я эшелоном уеду, с инженером Коротковым. Я за него замуж выйду. Я сегодня, как услышала, как ты поешь, поняла, что ты из-за Матвея пришла на завод, я и решила...

— Но я вовсе не из-за Матвея пришла на завод!..

— Ну, не из-за Матвея пришла, из-за Матвея останешься. Ты его ведь любишь...

Полина молчала. Она чувствовала, что Мотя словно бы сломала какую-то печать, за которой видно многое... Мотя, видимо, не испытывая надобности в ответе, продолжала:

— Любишь, Полинька! И надо любить! В тебе есть гордость, и в нем того более. Вон вы какие гордые! Полтора, что ли, месяца рядом ходят, а об любви ни слова. Я так не могу! Я старалась изо всех сил,

чтобы он меня полюбил. А он не любит. Ну что поделаешь? Выйду за Короткова...

— Только почему же выходить замуж?

— Пора, — ответила Мотя просто. — Мне пора! Дальше дело пойдет, сильно могу ошибиться. А сейчас я еще в мужиках разбираюсь. Коротков, он, верно, мутный вроде. Но это потому, что у него, как у младенца в жизнь, первые зубы прорезаются! Да ты не думай, я его не огорчу. Я его любить буду, и в Узбекистане мы хорошо работать будем...

Она свесила голову, положила руки между ног и, взяв с пола мокрую горсть щебня и, видимо, не замечая этого, продолжала:

— Хорошо! Он мной будет доволен. И я собой тоже, что нашла силы и дольше не унижалась!..

Она встала и подошла к той дверке, на которую указывал им Квасницкий. Полина догнала ее. Мотя потрогала дверцу. Она была как раз в ширину ее плеч и, действительно, заперта снаружи. Мотя с силой рванула ее. Послышался лязг железа. Запахло краской. Дверь не открылась. Мотя вернулась к колодцу.

Полина сказала:

— Нет, зачем же вам уезжать? Или, лучше, если ехать, так ехать нам вместе. Ну, какой он мне муж, Матвей?

— Муж будет хороший! — убежденно сказала Мотя.

— Нет, не хороший. Я люблю искусство. А он? Я сегодня запела — и поняла, что не могу уйти, покинуть искусство. Ну, просто совестно в таком положении, как мы, так разговаривать, но вы поймите, Мотя...

Мотя положила ей теплую и пахучую руку на рот, указывая другой на круглую дверцу, за которой слышались какие-то шаги, множество шагов... стук прикладов... незнакомые голоса... Мотя на цыпочках, согнувшись, побежала к двери. Полина от испуга не могла последовать за ней, хотя и старалась изо всех сил встать. Мотя быстро вернулась, но тот час же побежала в другую сторону и, рванув за провод, погасила электричество.

Почти тот час же Полина услышала рядом ее ровное и мощное дыхание, и Полине стало немного легче.

— Отошла? — шепотом спросила Мотя.

— Отошла...

— Немцы, — еще тише сказала Мотя. — Ты к ним в руки хочешь?

— Зачем же?

Мотя обняла ее опять за плечи и, помогая встать, сказала на ухо:

— Я еще к Короткову подхожу кое-как... Он красивый и я красивая... Я красивая, Полинка?

— Красивая, — с усилием сказала Полина.

— Ну а что? Мне перед смертью и похвастаться нельзя? Так вот, Полинка, я к Короткову подхожу, ей-богу! А — к немцу? Нет! Ни к одному! — И она быстро зашептала на ухо Полине, шевеля дыханием ее

волосы и щекоча губами ухо: — А ради миленького, кого даже и не любишь, а только рассчитываешь полюбить, всегда надо поступать хорошо. Верно? Дай я тебя, Полинька, поцелую! — Она сочно поцеловала ее и продолжала: — Как немцы только дверь сюда откроют, я — в колодец. Ты мне вменишь в преступление или в заслугу, Полинька, если я тебя с собой возьму?..

Полина, охватив руками круглую и сильную шею Моти, прошептала: — Как хочешь, Мотя, как хочешь, я тебе теперь так верю...

Дверь лязгнула. Первый раз, второй... Кто-то стукнул железным. Сердце у Полины помертвело.

— Смертью не надо пренебрегать, Полинька, смерть важна, строга...

И, сама строгая, высокая, она встала на гребень колодца, поддерживая Полину за плечи.

Полина заплетающимся языком спросила:

— Смерть? Но ведь страшно — в колодец, Мотя! Сырость... А если это не они, если наши?

Мотя уверенно сказала:

— У меня ухо понимающее. Немцы!

## Глава сорок первая

Припадая к земле, то ползком, то кувырком и только изредка отдыхая за пригорочком или в воронке от снаряда и все же мало-помалу приближаясь к Дворцу, Матвей, как ни странно, продолжал размышлять и наблюдать тот перелом, который явственно обозначался час от часу сильнее в нем. Еще утром, на передней линии обороны, он понял, что стал теперь трезвее, осторожнее и лучше понимать опасность и находить способы ее устранения. Месяц назад, а может, и того меньше, попади ему в руки эти два взвода, он уже давно бы уложил их, да и себя еще в придачу! А сейчас он здесь не менее прежнего все же находил в себе силу, а значит, и терпение, подвигаться вперед по десяти — пятнадцати метров в час да еще и верить, что выбьет немцев из Дворца.

Он видел их отчетливо, хотя, кроме запаха горящей бумаги, который ветер иногда доносил от Дворца, ничто не говорило ему, будто немцы там.

Дворец приближался медленно. Впервые видел его таким Матвей — с ног — от фундамента: таким приземистым, тяжелым, так что думалось: не пробьешь его ни снарядом, ни заберешься в него никак. И, словно бы прислушиваясь к грозному окрику Дворца, пустынна была площадь перед ним, и неизвестно для чего и неизвестно кого устрашая, падали здесь немецкие снаряды. Ведь все пути к откосу лежали по ту сторону площади, ближе к цехам. Там то и дело проскакивали проворные дедловские орудия, оттуда несли грохот залпов и там поднимались кверху тучи густой и едкой пыли.

Позвольте! Но это же немцы ведут по площади заградительный огонь, чтобы русские не проникли во Дворец, занятый эсэсовцами.

— Вот как?!

И Матвей подумал: «Интересно бы знать, что, все еще генерал Горбыч считает, будто на СХМ производится “демонстрация”? Или он уже послал сюда подкрепление?»

И снова Матвей понял, что он стал другим: более спокойным, а значит, и более сильным. Он верил в ум майора Выпрямцева, в дальновидность генерала Горбыча, верил, что не зря носятся вдали проворные дедловские орудия. В ширину, с одного конца сражения до другого, не меньше восьми километров пространства, изрытого балками, рвами, овражками, ямами, усыпанного развалинами, горящим лесом, вывороченными полосами железа, и среди этого хаоса необычайно легко пробирались, выскакивали и строились милые «дедовки». Матвею казалось, что он ощущает их движение всем своим телом, как иногда ощущает радостный и здоровый человек бойкое и уверенное движение молодости в своих жилах.

Между тем немцы обнаружили красноармейцев и рабочих, которых вел Матвей. К заводу, как известно, была обращена слепая стена Дворца. Следовательно, немцы могли стрелять только с крыши. Но пробралось их туда мало: красноармейцы у статуи Ленина снимали их! Тем не менее то вправо, то позади Матвея слышались стоны, крики... звали врача...

Матвей полз. Сжав челюсти, глядел он изредка в испуганное лицо Силигуры. Тот жмурил глаза и бормотал:

— Нет, не зажгут они библиотеку, Матвей Потапыч, не зажгут!

— Да она уж горит, твоя библиотека! Книг им твоих жалко?

— Не то чтоб они ценили наши библиотеки... Но ведь боятся: бумага горит лучше бересты, огонь может весь Дворец охватить. Что им вылезать под наши пулеметы?

— А они для пожара и залезли во Дворец. Им ориентир нужен, пойми, Силигура.

Раздался голос чей-то слева:

— Если у них офицер исполнительный, он обязательно подожжет.

Офицер, действительно, оказался исполнительным.

Из-за стены, обращенной к Заводуправлению, показался ленивый и лиловый дым.

Силигура охнул и, точно дождавшись этого дыма, зарыдал визгливо, по-бабьи.

Дым вылетал неровными, медленными клубами.

— Прикажете штурмовать, Матвей Потапович! — раздался вдруг голос Силигуры.

— Кого?

— Библиотеку!

— Обождем.

— Господи, чего же ждать? Ведь горят сто тысяч томов!..

Матвей, поглаживая ладонью уже нагретую землю, глядел на все растущие клубы дыма и думал. В смысле пожаров немцы опытные. Кто-кто, а они-то уже знают, как горят библиотеки. Следовательно, у входа в библиотеку ими или оставлен слабый караул или же, понадеявшись на пожар, они вообще караула не оставили. Да и то сказать, есть ли стена непроницаемее, чем стена пламени? Ясно, что они перешли в правое крыло Дворца, там, где радиоузел... Сердце его сжалось. Он не любил Мотю. Теперь-то это понятнее, чем когда-либо. Скорее всего, он любит теперь другую!.. Но как бы там ни было, он не позволит, чтобы Мотя попала в руки немцам. Как не позволит, чтобы вообще кто-нибудь к ним попадал! И вдруг он вспомнил, что там, в блиндаже, кто-то, кажется, Силигура, говорил, что и Полина в радиоузле. Или Матвей ослышался?!

Матвей взглянул на мокрое и жалкое лицо Силигуры, похожее на веник, которым только что подмели пол. «И неудобно сейчас спрашивать, и не ответит он!» — подумал с неудовольствием Матвей. Рядом с библиотекарем он увидел свежее и розовое, как всегда, и, как всегда, сияющее и довольное собой лицо Арфенова.

— Арфеныч, ты откуда?

— А оттуда, Матвей Потапыч. — Пенящийся, вздрагивающий голос Арфенова указывал на его волнение. — Услышал, что Дворец окружен, попросился, чтобы и меня послали немца окружить. Я до него давно добираться! Мне его пожары надоели. Мне этим дымом глаза выело.

— Сто тысяч томов!..

— Бумага, — сказал Арфенов равнодушно. — Ты, Силигура, в Сибири не был. Сибирь, брат, при любых условиях: сила! Там этих твоих томов на тысячи километров...

— Каких томов?

— Ну, из которых книги делают. Деревьев. Что, брат, книги? Книжки, брат, напечатаем. Люди! За людей немцев надо посыпать бурой для спайки и паять при тысяче градусов. Кого убили, подумай! Рамаданова убили!.. Не знаю, как вы, я такой мысли освоить не могу...

— Как — Рамаданова? — вскричал, вскакивая, Матвей.

Арфенов тоже встал. Лицо его изображало жалость и стыд: он предполагал, что Матвею неизвестно о смерти Рамаданова, иначе разве бы Арфенов стал так легко, между прочим, говорить о смерти «старика». Кроме того, его смутила горечь, рвавшаяся из голоса Матвея и из глаз его. Так река пламени, таившаяся внутри дома во время пожара, вдруг вырывается наружу — и даже опытные пожарные столбенеют. А уж Арфенов видывал много горя, да и сам испытал в меру своих сил... Он положил тяжелые руки на плечи Матвея. Тот опустился на землю. Глядя ласково лицо его своей шероховатой, будто наспех вытесанной рукой, Арфенов сказал неожиданно бабьим, нежным голосом, таким, что все окружающие сочувственно закивали головами:



— Так ты, стало быть, не слышал, Матвей Потапыч?! Как же? Весь город охнул... Снаряд разорвался маленький, а осколок от того снаряда — каждому в сердце! Рамаданова-а, ах ты, господи!..

Огненные брызги, сверкнувшие в сердце Матвея при первых словах Арфенова о смерти «старика», сменились теперь тупой и едкой болью. Он сидел, качаясь и охватив голову руками. Виски невыносимо ныли... Он видел перед собой виски — в белых реденьких кудряшках, падающих на тонкие, старческие уши, — виски, сейчас облитые кровью... его кровью!..

Арфенов, видимо, желая отвлечь мысли Матвея от Рамаданова, стал рассказывать, как умер наводчик Птицкин. Арфенов рассказывал быстро, желая воздействовать на красноармейцев героизмом Птицкина, а может быть, он опасался, что Матвей не сможет повести отряд на штурм Дворца, и ему, Арфенову, придется принять командование. К тому же, когда он вернулся от орудия, майор Выпрямцев сказал ему: «Тебя Матвей любит. Поди посмотри, как он... после Рамаданова... Если что, пришли весточку».

— И тот расчет, понимаешь ты, перебили, который я привел. Остались у орудия: я да Птицкин. Смотри. Танки идут! Он мне говорит: «Арфеныч, требуется внимание танков навести на меня, иначе они ко Дворцу пробьются». Нам не пора вставать, Матвей Потапыч?

— Не пора, — сказал Матвей, сжимая голову.

— Ну, раз не пора так не пора. Командиру виднее. Подождем, благо им стрелять неудобно... Ну... Начали мы палить по нему! Снаряд за снарядом, снаряд за снарядом. Я неутомимый, да и то устал. А он ведь, одно слово, — Воробей. Птичка. Но заинтересовал он меня своими очертаниями, товарищи, живописный. Он командует: «Танки! Приготовиться к отражению атаки!» Я отвечаю: «Есть приготовиться к отражению атаки танков».

Он посмотрел на Матвея, как бы спрашивал взором: не пора ли атаковать Дворец? Матвей сидел, опустив голову и тупо глядя в землю, покачиваясь и словно что-то считая про себя: раз, два, три, раз, два, три... Арфенов содрогнулся и намеренно бодрым голосом продолжал:

— Ну, такой оказался крутой парень, что сердце захолонуло. Чую, будет мне тяжело, придется валяться мне на дне ямы: кости да рога.

— Сколько шло-то на вас?

— А столько же, сколько и на вас, — отвечал Арфенов. — Ведь они к вам шли, а мы их на себя приняли. Ко Дворцу направлялись! Четыре огнеметных и два простых. И все на нас моторы, и все на нас башни!..

— Струсил?

— Я струсил. Про Птицкина не знаю: он весь в земле, глаз не видно, да к тому ж глаза потом залепляет, не разглядишь, как он? Только слова команды. Интересный подарок. Все делаю, как мне Птицкин приказывает, а внутри самого меня темно, и не могу я увлечься... это вроде как бы перед тобой цветы пестреют, луга, леса густые, а тебе в комнату хочется.

Арфенов увлекся правдивостью рассказа и совсем забыл, что командир не должен показывать слабости: а он-то ведь рассчитывал стать командиром! Но именно это-то увлечение и правда, звучавшие в каждом слове его рассказа, и превращали его в командира, в человека, который мог приказать и приказание которого могло быть выполнено.

— Однако развернули мы орудие — трах! Танк раскрылся настезь, как ворота. Тра-ах! Мимо! Тра-ах! В точку! Вам бы уж, товарищи, готовиться к отъезду в дальний, кабы не Птицкин! Он приказывает. Я подношу. Тра-ах!.. Еще сгубил Птицкин немецкое жилище. А ведь раньше, вы знаете, кто он был по профессии? Портной. Да, неосторожно немец обращается с русскими!..

Матвей отнял руки от головы и чуть приподнялся, вглядываясь во Дворец. Дым клубился, не очень увеличиваясь. Матвей опять охватил голову руками и стал качаться, опять словно бы считая про себя что-то. Арфенов помолчал, глядя на него, а затем продолжал:

— Прямо как грибы собираем танки: в кошелку советской славы, — сказал он напыщенно и даже приподнял руку. Но дальше рассказ его полился по-прежнему простой и с виду спокойный. — Птицкин смотрит в прицел. Закрывает замок, стреляет. Есть! И стало у меня, товарищи, внутри все в нежном, радостном запахе, вроде идешь весной по улице, а они, яблони, с обеих сторон на тебя машут. Удивительно! Выкидывает он, таким образом, медный стакан, и вдруг ко мне: «А где еще снаряды? Давай, чтоб у меня не меньше пяти штук было! Аршин ты длинный, а мера устарела!» А? Он в деле, товарищи, как забор, где гвозди остриями вверх торчат — со своим делом не пролезешь. Ладно! Бегу за снарядами! Наклонился. Поворачиваюсь. Смотрю: танки оставшиеся — два — прямо на его орудие. Смерть? У меня ноги заоченели. Думаю: идти или нет? А тяжесть уже, товарищи, от ног к голове. Минута еще — и я бы совсем струсил. Малость трусить — это даже полезно, я считаю, но много — очень вредно. Превозмог! Бегу! Гляжу: разрывается рядом с моим наводчиком термитный снаряд. Одежда на нем горит. Я — к нему. А он — «Чего, говорит, одежда, давай снаряд!» Тра-ах! Тра-ах!.. Пробил он башенный люк, снаряды внутри взорвались... Еще один танк отвязали от гитлеровой свиты.

— Ну а последний-то танк?

Последний танк — после того как наводчик сгорел, потому что одежду уже поздно было срывать, — Арфенов уничтожил связкой гранат. Но он считал, что будет хвастовством, если он станет об этом рассказывать. Да, кроме того, ему было совестно, что он не умел наводить орудие и, таким образом, заменить товарища.

— Вот так и погиб человек. Широкая душа! Такая широкая, что на ней, как на самом широком лугу, брат, может приземлиться любой самолет, самой мощной конструкции. Кто это оспаривает?

Никто не оспаривал.

У Матвея было такое лицо, словно он глядел в бездонную пропасть. Арфенов чувствовал себя на дне ее, на самой ее глубине, где он, наверное, казался Матвею не крупнее муравья. И Арфенов понял, что вздорными были его мысли о том, что он способен заменить Матвея. Величие того заключалось в том, что он способен был в такие важнейшие минуты, как эта, отдаться горю и в то же время думать — как бы получше организовать месть за смерть Рамаданова. Он не глядел на Дворец, но внутренним чутьем он высчитывал минуты: когда же можно ринуться в атаку. «Вполне прилично ведет себя», — подумал Арфенов и стал ждать приказаний. Все красноармейцы почувствовали то же самое.

Матвей оглядел их.

— Пробиться через библиотеку в правое крыло и выбить оттуда фашистов, — сказал он.

— Есть: пробиться через библиотеку в правое крыло и выбить оттуда фашистов, — ответил Арфенов, и все подчиненные Матвея ответили так же.

В то же приблизительно время генерал Горбыч, долго и мужественно размышлявший и советовавшийся, на какой шаг решиться, наконец приказал начальнику штаба: ввести в дело все пехотные и танковые резервы и при поддержке всей авиации бросить их к участку сражения возле СХМ и Проспекта Ильича.

## Глава сорок вторая

Отдав приказания, Матвей понял, что этого мало: теперь надо показывать самому, как же осуществляется такое приказание.

Немцы из Дворца обстреливали видимое им пространство. А видели они многое и многих. А стреляли они умеренно, в каждый патрон вмещая именно ту смерть, которую он должен вместить. Короче говоря, Дворец заняли снайперы. Немецкий обстрел породил в сердце Матвея нехорошее чувство. «Кто же и как пропустил их сюда? Не измена ли?» — думал он, подобно многим командирам, полагая, что случись ему быть здесь пораньше, подобного не произошло бы.

Однако по мере того, как он пробовал пролезть ко Дворцу во все щели, допускаемые сражением и случайностями войны, по мере того, как падали и умирали его люди, он стал понимать, что в данном случае немцы не могли не попасть во Дворец: слишком он громаден и слишком стратегически важен, равно как и то понимал он, что умный и расчетливый майор Выпрямцев послал его сюда не подкреплять окружающие Дворец наши силы, а чтобы показать этим силам: столкновение на откосе развивается для нас успешно, и «будьте уверены, немец потерпит убытки». И все глядящие на Матвея так его и понимали. Лица их веселели, и даже одежда на них становилась другой, более изящной и красивой.

Отряд Матвея прополз через пролом в кирпичной стене. За углом должен быть вестибюль Дворца... Круглая яма возле пролома стонала.

Раненые немцы, скинув каски, отчего лица их стали бледными и крошечными, взывали, опираясь руками о тела убитых. Матвей велел позвать врача.

— Как же, из Берлина им выпишем, — сказал со злостью Арфенов. Матвей рассердился:

— Произведу расследование, кто даже словом обидит раненого, — сказал он на ходу. — Поручаю тебе, Арфенов, произведи впечатление.

Он напряженно вглядывался в трупы убитых, прислушивался к стонам раненых немцев. Два или три мертвых офицера особенно привлекли его внимание. Одному из них воздушной волной, должно быть, вдавило шлем в плечи. Он лежал на животе, раскинув руки и ноги, и походил на краба. «Неужели в бою не увижу я лицо врага?» — в тоске подумал Матвей. Раненые, — воющие, молящие, стонущие, — не вызывали в нем ненависти. Мертвецы были просто омерзительны.

Но едва лишь он отчетливо и со всей силой задал себе вопрос: встретит ли он здесь врага лицом к лицу, — этот враг встал перед ним во весь свой высокий рост. О, с этим врагом не так-то легко разлучиться! На него глядел мужчина с желтоватыми птичьими глазами, в фуражке, надвинутой на лоб, изрезанный такими широкими морщинами, словно их проводили гусеницы танков. Тяжелый, как обух топора, подбородок чуть опущен, обнажая прокуренные острые зубы, которые не отчистишь никакой щеткой. От него, как от мясника, пахнет свежей кровью. Он поднимает тренированный, привыкший к убийствам кулак, наклоня вперед всю свою высокую фигуру, чтобы ловчее и сильнее ударить человека, который...

Полковник фон Паупель! Вы? Может быть, вы среди солдат? Может быть, вы во Дворце? Ведь вам так лестно вбежать и взять Дворец, возбуждая собой восхищение в читателях ваших газет и в ваших родственниках крестоносцах? Ах, полковник фон Паупель! Почему вас не произвели в генералы, вам было бы почетнее умереть в таком чине, ибо если вы здесь, во Дворце, то — смерть вам, полковник фон Паупель, смерть, смерть!!! Вы не убежите, фон Паупель, не скроетесь, вам не помогут все ваши многосильные моторы, потому что у нас б е т с я самый могучий и верный мотор в мире — сердце ненависти. Ух, тяжело тебе будет, полковник фон Паупель, ты прочтешь еще перечень твоих зол. Смерть! Смерть! Смерть!!!

Он почти задышался.

Он вскочил. Отряд вскочил за ним. Какой-то командир с загорелым лицом и с рыжими усами закричал где-то в стороне:

— Куда? Там у них миномет. Приказываю...

— Приказываю! — закричал Матвей, и у него не хватило дальше слов, да он и понимал, что их не нужно.

Прижимая к груди автомат и отталкивая Арфенова, который все старался выскочить вперед, он вбежал в вестибюль. Несколько беспорядочных выстрелов откуда-то сверху встретили их. Матвей бросил гранату

вперед, в дым, вившийся среди темно-синих колонн вестибюля. Дым этот легкой пеленой прикрывал убитых красноармейцев: караул, отстаивавший вестибюль. Неподалеку от дверей лежал красноармеец, держа в мертвой руке несколько пропусков, — должно быть, вахтер.

Голова у Матвея кружилась. Что-то плавное, как ритм стихов, билось в нем. Это было неудержимое стремление убивать. Убивать, убивать, убивать!.. Не стыдно, а нужно убивать и нести им смерть! Смерть врагу, смерть, смерть! Он стоял, вытянув в правой руке автомат. Лицо его пылало, и редкие волны дыма, вливавшиеся в вестибюль из глубины Дворца, не утишали этого пылания, а только больше подчеркивали его. Мало-помалу пламень с его лица как бы обрызгал собою лица, его окружавшие, зажег их. Они приблизились к нему, тяжело дыша и тяжело ступая. Все их движения говорили, что он мог им заказывать любое, самое отчаянное действие, — и они исполнят его. Убивать, убивать, убивать! Умирать, умирать, умирать! Смерть врагу! Да здравствует свобода и равенство!

Он взглянул на Силигуру. Кто-кто, а уж Силигура-то обладает взором. Он вглядывается. Сквозь дым он видит лестницу в библиотечный зал, падающие на столы балки с потолка, горящие стеллажи с книгами. Огонь кажется ему одушевленным. Огонь перелистывает книги, рвет их корешки... Беспросветная тьма покрывала сердце Силигуры. Тьма и ненависть.

— Значит, вперед! — сказал Матвей.

Они взялись за руки, составляя какой-то странный хоровод. Силигура пожелал идти первым.

— Будем совершать обход по твоей библиотеке, — сказал Матвей. — Веди, Силигура, чтоб не в последнюю экскурсию.

Они погрузились в дым.

Жар и духота сгустились.

Пепел, теплый и едкий, оседал на глаза. Слезы текли в рот.

— Совершай, совершай, — кричал Матвей, чувствуя, что цепь рук дрожит и мучается. — Совершай обход, не к смерти ведет путь! Верно, дозорные?

Дозорные молчали. Шаг за шагом они шли, ощущая где-то совсем рядом со своей тонкой и почти пылающей одеждой могучий и привязчивый пламень, — пламень смерти.

— А хоть бы подохнуть!.. — услышал Матвей.

— Чего? Кто там стонет? Чихни, будет легче. Не видишь, Силигура нас вывел. У него нюх. Силигура, есть у тебя нюх, борзая?

Самым поразительным событием этого и без того достаточно поразительного дня был ответ Силигуры. Откуда-то из тьмы донесся он:

— Приучайтесь к дыму, придется идти и через пламень!

И они вскоре, действительно, почти нырнули в пламень. Силигура был первым.

Кашляя, чихая, почти задыхаясь, выскочили они и уперлись руками в широкую, как ворота, металлическую, теплую дверь. Силигура вывел



их к боковому входу в библиотеку. Пламя и дым устремлялись в главный вход, не находя здесь тяги. Дыма было меньше. Хотелось дышать, дышать... Но Матвей сказал, криво улыбаясь щеками, покрытыми пеплом:

— Сусанину приходилось куда легче, чем тебе, Силигура. Он хоть дышать мог...

Силигура, обожавший точность выражений и сравнений, сказал:

— Сусанину, извините, приходилось тяжелей. Ведь он-то вел врагов.

Матвей сказал:

— Вот и отдохнули, давай вперед! Вперед — легче, бой...

Они распахнули дверь. Но боя еще не было. Их опять встретил дым, еще более удушающий, чем прежде. Пламя грызло потолок читального зала. Оно работало исправно. Одна за другой падали балки, валились книжные шкафы... Да, немцы создали позади себя превосходную стену.

— Вперед все-таки, Матвей Потапыч? — спросил Силигура, в котором вид горящих книг возбудил то же желание убийства и смерти врагу.

— А как же? Должен же немец потерпеть убытки!

— Тогда я проведу через антресоли.

Они спустились вниз по какой-то боковой лестнице, затем поднялись вверх по другой, приставленной просто к стене, пожарной. Силигура нюхал воздух, чихал, крутил головой и, как всегда, поправлял на плечах прорезиненный плащ, который он не сбрасывал, наверное, и в постели.

— Еще направо, еще направо! — твердил он.

Позади каких-то уже начавших гореть шкафов они выбрались, наконец, на антресоли. Дым заволок их настолько, что они не видели своей руки, нащупывавшей перила. Внизу бушевало пламя: горел читальный зал. Окна были выбиты, сквозь них через дым можно было иногда разглядеть очертания цехов и вспышки выстрелов на Стадионе, который, видимо, атаковывали немцы. Отряд находился на последнем этаже. Отсюда, через чердак, на площадку, к подножию статуи.

Но вход на чердак оказался уже охваченным пламенем.

Они попятнулись.

— Куда теперь?

Силигура не ответил. Некуда! — говорил весь его вид.

В двух шагах от перил колыхалась железная балка, готовая упасть.

Над нею сквозь дым виднелось черное пятно.

— Там чердак? — крикнул Матвей на ухо Силигуре.

Силигура кивнул головой.

Матвей перебросил ногу через перила антресолей.

— Куда? Матвей Потапыч!

Матвей мог ответить по-разному: приказать идти за собой, что было легче всего высказать и труднее всего исполнить; мог пошутить, что «авось не свалюсь, не на кровати»; мог просто выругаться... Он поступил по-другому! Его охватила великая пафосная мысль, которая охватывает обыкновенного человека, может быть, однажды в жизни, а гениальных полководцев — не чаще одного раза в год. Сначала он вспомнил Рамада-



нова, разговор его с Силигурой в библиотеке, горящей там, внизу, затем он вспомнил любимую его книгу, а после того его прорезало как ножом: «Неужели я отступлю от мести, от полковника фон Паупеля?» И он опять вернулся к любимой рамадановской книге и, ступив на балку, стал читать громко, размеренно, как стихи, стараясь пересилить гул пламени и хрипоту пересохшей глотки:

— «О, графиня... — сказал Люсьен с лукавым и в то же время фатовским выражением. — Мне...»

Матвей не успел и два раза повторить строки, единственные из тысяч «Утраченных иллюзий», прочитанные им, как уже отряд миновал полосу дыма.

Они выскочили в какой-то сырой и узкий коридор. Чердак остался позади. Они слышали чей-то незнакомый голос, кричавший незнакомые и сердитые слова. Бритая голова в каске показалась на лестнице. Матвей увидел обшлага темно-зеленого, тесного, не по плечам, мундира, — и притупленные дымом и отчаянным положением ненависть и стремление убивать и убивать вновь с необычайной силой овладели им.

— Мой! — завопил он, бросаясь вперед и хватая немца за горло.

Он слабо помнил, что происходило дальше. Он наскакивал, стрелял, приказывал. Руки его горели. Плечо ныло — шестой по счету хватил его в плечо штыком. Матвей перевязал на ходу носовым платком и даже не помнил: завязал ли он узел... Следующего немца он ударил своей каской. Затем откуда-то из продолговатого бассейна, — они дрались уже в гимнастическом зале, — выскочил восьмой. Они дрались прикладами! Немец, видимо, забыл о своем револьвере и когда выхватил его, Матвей, с окровавленной головой, с простреленным ухом и ссадиной вдоль всей головы — снизу вверх, — сидел на немце и тряс его за грудь.

Офицер с обвислым задом, подпрыгивая и визжа, бежал от него. Вокруг слышались выстрелы. Матвей бросил наотмашь вправо гранату, откуда, как ему показалось, спешили на помощь офицеру немцы. «Только бы взглянуть в лицо... только бы!.. Не полковник ли это фон Паупель? Ну, тогда вы получите перечень ваших дел, полковник!» Офицер повернулся — и выпрямился. Фигура его приобрела достоинство. Он вытянул голову вперед, и так как ему нечем было защищаться — паника охватила солдат при виде выскочивших из пламени черных и ловких людей, паника, следовательно, охватила и его, и вполне понятно, что он потерял оружие, то теперь офицер, стоя перед хромящим, в крови и ненависти, врагом, мог защищаться только плевком. Он хотел набрать слюны, чтобы плюнуть. Он вытянул губы... плевков повис у него на мертвой губе.

Матвей побежал за следующим.

Он прыгал со ступеньки на ступеньку, отстреливался, звал. Немцы разбегались от него.

Один из красноармейцев, рожденный в Средней Азии и воспитанный на традициях восточной поэзии и сам немножко поэт, смертельно раненный, опустился на ступеньку, через которую только что перепрыг-

нул, чуть прихрамывая, Матвей. Красноармеец, глаза которого мутнели, в последние минуты своей жизни не вспомнил ни отца, ни матери, ни любимой... Он был воин! Он поглядел вслед Матвею и подумал про себя, глядя на прихрамывающего Матвея: «Я теперь понимаю, почему был хром Тимур. Если б он не хромотал, он завоевал бы весь мир».

Матвей спускался вниз, поднимался вверх. Он уже забыл счет лестницам и дверям, которые он выломал и за которыми прятались немцы. Однажды он наткнулся на круглую железную дверцу, окрашенную зеленой краской. Она, очевидно, вела в подвал. Он стукнул в нее прикладом.

— Там немцы! — сказал он, хватаясь за гранату. — Я туда брошу.

— Тут и ребенок не пролезет, — сказал Силигура, всюду, правда немножко издали, следовавший за ним, — тут подвал для кухни.

— Выше, выше! — крикнул Арфенов, и они бросились выше.

...Сколько раз позже Матвей жалел, что не сорвал дверцы. И столько раз он радовался, что не сорвал их. Кто знает, как бы он предстал перед девушками: героем ли с гранатой в руке, или же граната кинулась бы впереди него, или же девушки кинулись бы вниз головой в колодезь...

В большом и широком, залитом кровью коридоре, который вел к площадке со статуей, лежала едва ли не сотня убитых немцев. В конце коридора двери на площадку были забиты мешками с песком и обрезками балок. Убитый сержант, шесть мертвых и три раненых красноармейца отстреливались из-за мешков, преграждали здесь путь к площадке — к Ленину! Раненый, отставляя в сторону ручной пулемет, сказал Матвею:

— Проходите, товарищ командир. Вам путь свободен.

И он смежил очи. Он дождался смены. Он мог теперь передать пост свой, который защищал от немцев почти три часа в смертельном бою.

Матвей вышел на площадку.

Бой заканчивался. «Дедловки» стреляли уже редко. Резервные наши танки, врезавшиеся в середину немецких машин, доколачивали их с тыла. По фашинам, через реку, убегали недобитые. Не помогали ни третья, ни четвертая волна танковой немецкой атаки!..

Бой не изменил очертаний завода. Матвей глядел на них с наслаждением. По-прежнему четкие и строгие, чуть разве поцарапанные, лежали цеха перед ним, внизу. Дворец падал к ним обрывистыми утесами. Направо уступом поднимался и тянулся над Проспектом дым. Это горела библиотека. Но уже слышались шлепающие вздохи пожарной машины и шипенье струи... Тушили...

Ленин стоял, простерши мощную руку на запад!

## Глава сорок третья

Когда все замаскированные рвы наполнились до краев, как мусорное ведро сором, разорванными плитами стали, исковерканными цилиндрами пушек, изогнутыми пулеметами с торчащими еще лентами патронов; похожими на длинные челюсти, гусеницами танков; ружьями, револь-



верами, словом, всем тем, что еще недавно убивало и калечило людей; когда с увеличенной яростью на изгибах рвов из особых бетонных гнезд вырывались пучки удушающего и уничтожающего огня, фронтального и фланкирующего; когда по-прежнему знамя «Правды», принесенное из цеха в блиндаж, качалось от взрывов, но не падало; когда полковник фон Паупель в великой тревоге отметил, что «бой происходит в недопустимо замедленном темпе развития», а генерал Горбыч прорывал в телефон: «Так их, хлопцы, так их!»; когда возле своего орудия и вместе со своим орудием горел артиллерийский наводчик Птицкий, маленький, серенький, похожий на воробья и прозванный Воробышком; когда Матвей гонял вороватых и перепуганных немцев по всем залам и коридорам Дворца; когда на баррикадах города стояли с винтовками женщины и старики, стояли всю ночь с опухшими от бессонницы веками, — тогда вдоль цехов СХМ, по окопам, через бомбоубежища и газоубежища, то поднимаясь, то опускаясь на ступеньки, вырытые в сухой земле, несли в чересчур коротких носилках, с которых свисали его ноги, раненого Рамаданова. Иногда взрывы усиливались — носилки ставили на землю. Землянка тряслась. Все переглядывались, и какая-то сердобольная работница, пожилая и низенькая, в клетчатом платочке, дававшая умелые советы, куда и как поставить носилки, всхлипывая, спрашивала шепотом: «Отходит? Господи!» А затем, стиснув бледные кулачки, говорила яростно Короткову: «Как вам не совестно, зачем вы мешаете человеку умереть, куда вы его несете?» А Коротков, бледный, испуганный, всплескивал руками над нею и восклицал: «Но ведь он приказывает, вы понимаете?» Сердобольная вряд ли понимала его.

Рамаданов не чувствовал смерти. Наоборот, он чувствовал себя более сильным и бодрым, чем когда-либо. Правда, голова кружилась и боль в боку возрастала, но разве здоровый человек не ощущает головокружений — хотя бы от счастья, и разве не бывает случайной, затем исчезающей, боли? Он лежал. Его несли. Но все же ему казалось, что он стоит, как стоит хороший дом, который мало того, что опирается на стены, еще воздвиг внутри себя и столбы! Вдобавок душа его, как широкий дом в большой праздник, была полна народа и друзей. Они говорили с ним, шутили. Он с ними говорил, шутил... Время от времени Рамаданов закрывал глаза и виновато улыбался, — так улыбается хозяин дома, когда его вызывают по делу на минутку. Взор его говорил: «Я бессилен в данном случае, извините, долг призывает меня, надо выйти!»

Чем дальше его несли, тем чаще и чаще становились эти уходы. Подобно тому как поросль у берега переходит в лес, так и уходы его в тьму удлинялись и переходили в нечто крепкое и высокое, что слегка тревожило его — ему хотелось обратно. Он открывал глаза. По выражению лиц, его окружавших, и по тому, как с каждым открытием глаз количество этих лиц возрастало необычайно, он понимал, что они очень беспокоятся о его здоровье и способны остановить носилки, пока не появится какой-нибудь авторитет медицинского мира. Ах, как надоели все эти авторитеты!

Ах, как он великолепно сам понимает состояние своего здоровья! Опасаясь, что они будут ожидать профессора и авторитета, и желая дать им понять, что он превосходно чувствует себя, он говорил категорически:

— Несите меня домой!

Поднимались носилки. Врач, сопровождавший их, клал свисавшую с них руку обратно на приятное, защитного цвета, полотно. Сердобольная работница суежилась у ног. Подходили сбоку рабочие, кое-кто глядел сверху с насыпи окопа. Тогда на плечи несущих падали куски земли. Сердитое выражение появлялось на их лицах — Рамаданову невыносимо приятно было смотреть и на людей, и на окоп цвета светлой охры, и на лица знакомых рабочих. Однажды, сменяя инженера, к ручкам носилок подошел Никифоров. Увидев его, Рамаданов сказал:

— А краны?.. Любавскому?..

Всякая шелуха, окружающая обычно смысл человеческой речи, теперь из-за напряжения, которое испытывали все, спала, и смысл того, что хотел сказать Рамаданов, был понятен с одного слова. Он говорил: «Краны», — и все понимали, что он беспокоится о кранах, которых не хватает для демонтажа прессы «Болдвин». Любавский был инженер из НКВД, где, возможно, еще сохранились краны, и Рамаданов, таким образом, рекомендовал Никифорову обратиться туда за содействием. Никифоров почтительно снял фуражку. Никифоров почитал бокс, борьбу, всяческие спортивные соревнования. Он видал много стойких людей. Каждый из них по-своему здорово держался на ринге. Но так, как держится на ринге и в борьбе со смертью этот старик, наверное, удивительно даже и для самой смерти!

Подбежал конструктор Койшауров, тот самый, который ходил рано утром вместе с Матвеем и Никифоровым на переднюю линию обороны. Он был бледен более, чем когда все они бежали от немецких танков. Рамаданов узнал его. Он пошевелил бровями и сказал:

— Опасность... опасно... — Затем, словно бы прополоскав горло, добавил: — Полторы тысячи тонн? Ладно!.. Впрочем...

Он, как поняли все, возразил Койшаурову. Он настаивал на своем предложении: Койшауров, опасаясь, что пресс «Болдвин» не дойдет в сохранности, предлагал сконструировать новый пресс, поменьше, в полторы тысячи тонн и построить его в Узбекистане своими средствами. Рамаданов же: если уж на то пошло — лучше придумать такой технологический процесс, где можно обойтись без применения прессы.

— Я о том же и говорю, что уже есть наметка! — крикнул ему Койшауров, прибежавший сказать, что у него в голове уже есть и приспособления, и технология, при которой можно обойтись и без прессы!

Врач остановил Койшаурова. Рамаданов, закрывая глаза, сказал:

— Несите меня...

Верные руки, послушные приказанию, подняли его. Они понимали, что «старик» не ищет укромного уголка для смерти, он вылавливает

смерть не как рыболов, он встречает ее как воин. Он требовал, чтобы его подчиненные несли его вперед, не обращая внимания ни на море огня, ни на горы земли, поднимаемые взрывами. Через моря и горы несите меня! — говорил его твердый, хотя и слегка помутневший взор.

Рамаданова несли.

Его несли через окопы, цеха, мимо станков, печей, падающих молотов, прокатных станов, по складам, вдоль конвейера в сборочном цеху, где время, несмотря на бомбы и пожары, по-прежнему, словно хронометр, отсчитывало одно за другим окрашенные в камуфляжные цвета противотанковые орудия. Его лицо обдавали запахи красок, плавящегося железа, масла, распиленного дерева. Его несли мимо материи, которая именно здесь принимала все те причудливые и крепкие формы, которые способны защитить новое общество! Он улыбался этой материи, ее силе, ее форме.

Он открывал глаза и говорил:

— Большая кочерга...

И все вспоминали его поговорку, которую он употреблял, когда сильно сердился, желая сказать, что для человека нашего общества нет предела в напряжении его сил: «Большая кочерга для большой кочерги».

Его несли мимо цветника. Толпа увеличивалась. К нему бежали, не обращая внимания на сражение, на окрики мастеров и инженеров.

Солнце уже светило полностью.

Рамаданов покосился на цветник, о котором всегда заботился: под старость он полюбил цветы, в особенности почему-то резеду и гвоздику.

Цветник показался ему серым.

Он прикрыл глаза и стал проверять себя, не спеша и спокойно, как он проверял свои знания, когда, например, садился составлять какой-нибудь доклад. Рамаданов заставил себя пошевелить рукой. Она была почти недвижна. Он приказал ноге работать. В ноге чувствовалось ооченение. «Надо спешить!» Он открыл глаза. За площадью, дымясь утренней дымкой, вставал Дворец. Сбоку, бросив руку вперед, шел на запад Ленин.

Он сразу узнал его. Как странно! Ведь еще совсем недавно Рамаданов говорил с ним, — ну да, на заводе Михельсона, — слушал его шутки... а затем статуя, величие, особое величие вечности, которое чувствовалось в нем и тогда, но которое заслонялось тем, что... недавно еще, в Сибири, довелось сидеть с ним в уединенном низком домике, за самоваром, помнится, это было в субботу... деревянные полы были выскоблены, из соседней комнаты пахло шаньгами, смолистыми щепами и тулупами... Он взял стакан, желтая влага плеснулась... широкой полосой расплеснут Млечный Путь... Они вышли на безлюдную морозную улицу... Владимир Ильич сказал шутя: «Вот они, сибирские проспекты». И кругом стояли снега, и в небе стояли звезды, похожие на снежинки...

...Рамаданов открыл опять глаза.

Носилки, на которых он лежал, вынесли на Проспект.



Он слышал за собой сильное дыхание большой толпы, сопровождавшей его носилки. Он не любил пышности, но сейчас присутствие толпы нравилось ему. Отчего? Да оттого, что — раз толпа, значит, сражение окончено и окончено в нашу пользу! Не правда ли? Уж кто-кто, а Рамаданов знал людей. Эсхаэмовцы народ, конечно, смелый, и они бы дрались с фашистами у станков, прорвись они. Но, — надо быть трезвым, — вряд ли они толпились бы вокруг Рамаданова, хоть он и умирал, будь фашисты на СХМ? Эсхаэмовцы тогда бы просто положили его на сиденье автомобиля... «Несомненно, отбили немцев, — подумал Рамаданов с торжеством: — Надо поприветствовать...» Он видел проспект, баррикады, разрушенные дома, Ленина с простертой рукой... Над ним наклонилось лицо Матвея. Ну конечно же! Ведь Матвей стоял на откосе и не мог покинуть его, пока не добьется победы. Рамаданов улыбнулся нечаянной радости встречи. Воображение его вспыхнуло последний раз. Он вспомнил цветистые и красивые разговоры, которые он вел недавно за кофе с Матвеем, и он сказал:

— Матвей... участок...

Он хотел сказать с витиеватостью, свойственной его интимной беседе: «Матвей Потапыч, участок дороги, на которой я сейчас стою, кажется, суть участок смерти. Вы молоды, вам не след стоять на нем. Прощайте».

Но этих его фраз никто не понял, а он сам не смог уже досказать их вслух. Перед его глазами мелькнул ветвистый орнамент, украшавший двери Дворца, в портале которого остановились его носилки. Орнамент этот он спутал с грохотом и сверканием подскакавших пожарных, которым Матвей тщетно махал рукой... орнамент... дрожащие лестницы... зеленые каски пожарных...

Рамаданов умер.

## Глава сорок четвертая

Все по-настоящему великие исторические победы происходят от слияния четырех причин. Первая из причин: подлинное сердечное чувство полководца к тем людям, которых он защищает, причем чувство это должно найти среди защищаемых таких личностей, ради которых полководец в любой час мог бы отдать всю свою жизнь. Генерал Горбыч за Рамаданова, Матвея, Полину, не говоря уже о красноармейце Динулине, например, или наводчике Птицкине, или майоре Выпрямцеве, рад был положить сердце и жизнь. Они для него олицетворяли собой город, который он защищал. Вторая причина победы: взлет и горение патриотизма, когда каждая былинка на дороге, преграждающая тебе путь к врагу, кажется бревном, когда не спишь ночей, когда не пьешь, не ешь, когда беспокойство за судьбу родины пронзает твои думы ежесекундно!.. Генерал Горбыч среди патриотов своей родины был напервым. Третья причина победы: дальновидный, спокойный, верный политический расчет,

при котором враг, куда б он ни повернул, каждую минуту находил бы все возрастающее количество яростных и неумолимых противников. Немцы, идущие на город, и в частности командир их, полковник фон Паупель, признавали, что генерал Горбыч обладает спокойным политическим расчетом. И, наконец, четвертая и наиболее важная причина победы: если одному отжившему строю жизни приходил на смену другой: будь ли то — на смену рабовладельчества — феодализм, а на смену феодализма — капитализм, — все равно войска нового строя неизменно на знаменах своих нсут победу!..

«Мы должны. Мы обязаны победить!» — думал генерал Горбыч и в штабе, и на позициях, под огнем, и в лазаретах, где он прощался с ранеными, отправляемыми в тыл, и у братских могил, где он говорил напутственные слова бойцам, навсегда покинувшим свою родину.

И он чувствовал, что уже нащупывает пульс победы, в особенности тогда, когда он направил к СХМ все свои резервы. Политический расчет помог ему. Уже при первых сообщениях об атаке, когда даже сам майор Выпрямцев, да и Матвей тоже, считали, что на СХМ идет «демонстрация», генерал Горбыч крикнул майору в телефон:

— Атакуют фашисты? Куда им захочется нанести удар, если они увидят город? В — Ленина! В его пушки! В СХМ!

Так оно и случилось. Потирая большие руки, запачканные лиловыми чернилами, генерал подумал, что он, пожалуй, преувеличивал зоркость полковника фон Паупеля. Он — фашист! Он слепой и тупой фашист, и как таковой он напорется, рано или поздно. Политическая слепота погубит его. Ведь ему ж невыгодно, идиоту, атаковать СХМ? Ведь позиции же, с точки зрения выгоды атаки, ужасающие?

«Пожалуйста! — сказал генерал про себя, разведя руками. — Пожалуйста! Правду говорили ваши журналисты, они вас, господин полковник, лучше даже, чем я, понимают. Ну, что ж, пожалуйста бриться, сукин сын!»

Горбыч, разобравшись в ошибке фон Паупеля, хотел было с радости сказать по телефону Рамаданову о посылке резервов в его ставшее теперь главным направление СХМ. Но, подумав, генерал не позвонил. Мало ли что придет в голову «старикуну»? А затем, дружба дружбой, а военная служба своей военной службой! Вопреки своим прежним мыслям о «демонстрации», генерал теперь гордился своей предусмотрительностью. Он даже считал, что сосредоточение войск резерва — танков, автоматчиков и бронебойцев на Круглой площади, неподалеку от СХМ, — «это не случайность, а наоборот, какая-то подсознательная дальнзоркость!» — думал он — и кто знает? — не прав ли он был? Позже дальнзоркостью своей он объяснял и то, что не позвонил Рамаданову. Узнай Горбыч о том, что Рамаданов ранен, генерал, стремясь быть трезвым и спокойным, пожалуй, мог бы подумать, что жажда мести ослепляет его и заставляет послать резервы к СХМ. Не отменил ли <бы> Горбыч своего решения?

Так он думал позже, ибо чаще всего прошлое мы рассматриваем как художника, который пишет с нас портрет: хочется быть и похожим, и красивым до последней ниточки...

Подошла та минута, когда генералу стали подавать донесения отдельных командиров. Командиры писали о состоянии частей, об убитых, раненых, о количестве снарядов, а затем — сколько уничтожено немецких танков, орудий и солдат. Генерал бегал по кабинету, требовал чаю, читал Блока и Шевченко, путая строфы и слова, обнимал порученцев, и, совершенно изнеможенный славой и количеством уничтоженных танков, подошел к телефону. Его вызывал парторг СХМ Бронников.

Генерал услышал другой голос. Говорил Матвей:

— Оказалось, — сказал он, — Бронников-то забыл себе перевязку наложить... ну и упал возле...

— Ранен?

— Вроде... Да, с Бронниковым ничего. — Матвей вздохнул в телефон. — Я не знаю, как и сказать вам, товарищ генерал... Мы вас выдвинули в комиссию по похоронам...

— Похороны кого?

— Рамаданова... Лариона Осиповича.

— Ларион?! Да не может быть того, Матвей!

— Я тоже думал, что не может, — послышался грустный голос Матвея. — А он лежит рядом, в кабинете... возле книжного шкафа... Я почему позвонил, товарищ генерал-лейтенант, — мы желаем сегодня же похоронить Лариона Осипыча.

— Почему сегодня?

— Получен приказ: скорее вывезти эшелоны. Мы считаем, что все рабочие должны не только проститься с директором, но и присутствовать при погребении. А там и ехать. Не знаю, как вы, а мне решение кажется разумным.

— Да, да! Мне ясно. Вы хотите сказать рабочим: «Здесь лежит тело Рамаданова. Вы уезжаете, но помните, что мы, оставшиеся здесь, не отдадим этой могилы немцам, как и не отдадим всего завода!»

— Верно!

— Вы будете на заводе?

— А где же мне быть?

— Еду к вам.

## Глава сорок пятая

Двадцать минут спустя, после разговора с Матвеем, генерал Горбыч был на СХМ. Но Матвей уже уехал. Его спешно вызвали в обком.

Вызывал Матвея первый секретарь Стажило. Прислали машину. Первый секретарь, машина — все это указывало, что дело предстояло разрешить какое-то большое... и тем не менее Матвей на обкомовской

машине сначала заехал домой. Дело в том, что дорога в обком пролежала мимо вокзала. Достать сейчас машину трудно, все заводские машины, — даже автобусы, — перевозят материалы... и Матвей рассчитывал отвезти на большой машине хотя бы часть багажа родителей, а если удастся, то и самих...

Но если вдуматься, — а Матвей боялся вдуматься, — то ему не столь хотелось отвезти родителей, потому что старик Кавалев и сам был достаточно предприимчив и, небось, уже отправил багаж, сколь ему хотелось узнать участь Полины. Она исчезла тотчас же после окончания боя. Говорили, что она убежала из радиоузла вместе с Мотей. Мотя, — это еще повод для беспокойства, — так ненавидит Полину... могла причинить даже вред умышленно... Силигура на все вопросы Матвея отвечал как-то неопределенно, явно смущаясь, так что Матвей даже крикнул:

— Уголовщина или нет, ты отвечай прямо?

Силигура потупился. Он не знал, что тут и сказать. Наверное, у Полины Вольской достаточно оснований, дабы скрывать свое имя и работать возле станка? Надо и у ней спросить: желает ли она, чтобы Силигура рассказывал о ней? Поэтому Силигура сказал неопределенно:

— Мотя у вас на квартире, так я слышал. Вы бы, Матвей Потапыч, к ней обратились. — И, слегка улыбнувшись, он добавил: — История велит мне быть объективным.

— А смеешься чему?

— Тому и смеюсь, что не бывает объективной истории. Да и нельзя сказать, чтоб я смеялся, Матвей Потапыч. Время мало смешливое. Разве что ухмыльнешься.

— Значит, не уголовщина?

— Матвей Потапыч! Вы хотите знать мое мнение о любви?

— О какой любви?

— О той, которой, Матвей Потапыч, охвачены и Мотя, и Полина Андреевна... и в которой они все сознаться себе никак не могут. А может быть, и сознались, кто знает? Только если они сознались, они непременно разъехались. Куда, вы хотите спросить? Полина Андреевна к своему делу, а Мотя, предполагаю, на станцию, вместе с родителями. Она девушка умная, ей не победить Полины Андреевны, понимает!..

Матвею показалось, что Силигура ждет от него вопроса о Полине Андреевне. К какому делу она могла вернуться? Почему Моте не победить? Чем Полина сильнее? Матвей не спросил потому же, почему не был с ним откровенен Силигура: Матвею казалось, что Силигура не может многое сказать, а выспрашивать не было ни времени, ни сил, ни желания... Мысль об умершем Рамаданове, как стеной, закрывала от него все свое, личное, и стоило только подумать об этом новом сосновом гробе, где лежало тело старика с аккуратно причесанными волосами и поджатыми губами...



Силигура понял его и тихо спросил:

— А вы некролог для радио не напишите, Матвей Потапыч?

— Напишу, — сказал Матвей, отходя.

... Так оно и оказалось. Багаж уже отправили подводой. В передней только остатки: ящик с тремя курами и корзина с петухом. Возле ящика валялись не совсем созревшие кочаны капусты, лук, свекла. Пахло землей. Искрились в щелях паркета осколки выбитых стекол, и потому, наверное, все ходили по коридору осторожно, на цыпочках.

Из соседней комнаты слышался самодовольный голос Потапа. Как всегда, он говорил о Матвее. Мать смотрела виновато: «Нехорошо, дескать, пить в такое время».

— А чего не выпить, раз хочется? — сказал Матвей. — На дорожку, от простуды, взяли?

— Взяли, — ответила, всхлипывая, мать.

Матвею хотелось быть ласковым и добрым в этот день. Он нежно глядел на мать, на ее тощие и редкие волосы, совсем пожелтевшие на висках, на покрасневший нос, на руки с темными жилами... «Когда-то увидимся теперь?» — подумал он, и ему стало стыдно, что он иногда грубо обращался со стариками. Ему захотелось наверстать ушедшее. Он заглянул в комнату.

Потап, охватив пальцами стакан с водкой, водил им над столом, словно бы чертя им какую-то фигуру. Водка плескалась. Два старика, прикрыв руками глаза, тоже покачивались над столом. Слезы падали у них сквозь пальцы. Конечно, они плакали не над словами Потапа, а над тем, что жаль расставаться им с городом, с обжитыми местами.

Старик Потап говорил:

— Министерская голова... председатель Совета Министров, мой сын, Матвей!..

Матвей, забыв о своем стремлении быть добрым и снисходительным, сердито сказал:

— Папаша! Вы уезжаете и должны слышать от меня всю правду! Вы меня назначили полковником. Я выровнялся из уважения к вам, и как необходимый народу...

Отец перебил его, взглянув удалыми и пьяными глазами:

— А потом я велел быть тебе директором, где оно?

Матвей уже совсем рассердился:

— К чему такой разговор? Бесстыдный?

— При чем тут бесстыдный? Народ хочет тебя директором. Верно, старики?

Старики молча плакали.

— От директоров пойдешь в министры...

— А там вы меня выдвинете в императоры?

— Не-ет, я не за царизм. — Он икнул и поставил стакан на стол. — Я... не за царизм, а министром ты можешь быть, Матвей, честное сло-



во, можешь! У тебя — голова! Пойми! Она в пределах советской власти многое в состоянии.

Он вылез из-за стола, обнял Матвея и, заглядывая ему в глаза, спросил:

— Небось противно смотреть на старика?

— И противно.

— Вот тебе противно, а я благословляю. Женись! — крикнул он неожиданно громко. — Женись! Она вполне достойна. Я разглядел.

— Чего ты можешь разглядеть? — сказала, глубоко вздыхая, старушка.

— Я. — Он подал Матвею стакан с водкой. — Выпей за мой взгляд. Помянешь после. У старика, скажешь, взор зорче, а водка крепче. Предстоит такая пелена, что скоро и света не разглядишь! Пей и прощай, Матвеюшка!

— Какая пелена?

— А такая пелена, что немцы железную дорогу отрезают! У них есть, предполагают, такой удар. Чик ножницами! И нету... как пуговицы от нашего города. Отрезали от республики!

— Разговоры!

— Разговоры и есть жизнь!

Матвей взял стакан, посмотрел на прозрачную водку и выпил. Поставив стакан на стол, он отложил корку вязкого хлеба и, жуя, спросил:

— Когда на вокзал?

— Тебе с нами на вокзал незачем ехать, — сказал отец пьяным голосом. — Ты поезжай по своим делам, а мы по своим. Мотя со стариками уже там, ждет. А мы приедем к ним, не беспокойся. Твоя жизнь теперь, Матвей, опальная... — Икнув, он поправился: — Опаленная! Будут тебя и палить, и жечь, но только ты... ты, Матвей, держись! Город отдавать не надо. Он, немец, глупый. Он этот город весь дотла сожжет, раз получит. Он ему неприятен. Он много огорчений от нас принял. Сожжет!

Матвей поцеловал отца. Потап пошел было провожать его, но дошел только до порога комнаты и, обессиленный, вернулся к столу. Он стал жаловаться старикам на свое горе, старики показывали ему мокрые от слез руки.

Матвей припал к плечу матери. Слезы, наполнявшие, казалось, эти комнаты, охватили и его. Он размяк и спросил ее о Полине. Мать сказала, что Полина ушла в город. Старик Потап выдал Полине имущество.

— Да ведь вот он какой, разве он расскажет? Он пьяный всегда баснями объясняется. Боюсь, Матвеюшка, попадем мы в Узбекистан, его водка и совсем пленит. Как тогда поступать?

— В войне не утонул, из водки вынырнет, — сказал Матвей.

...В обком он ехал очень грустный. Да к тому же, когда машина проходила Круглую площадь, он, увидев, что толпа народу бежит к радио-

рупору, велел шоферу остановиться. Голос из радиорупора говорил так отчетливо и сильно, что не надо было и открывать дверки:

— «Вследствие повреждения железнодорожной станции, погрузка эвакуируемых в эшелоны будет производиться на седьмом километре! — Помолчав, голос продолжал: — Граждане! Городу угрожает интенсивная бомбежка. Желающие эвакуироваться, направляйтесь на седьмой...»

Голос после слова «седьмой» делал паузы, словно бы для того, чтобы дать возможность толпе разойтись. Она, действительно, как-то распадалась и исчезала мгновенно в домах. Сразу же в течение паузы на месте исчезнувшей толпы собиралась другая. В городе творилось что-то неладное.

Матвей так и сказал секретарю.

— Я знаю, — ответил тот. — Немцы хотят отрезать город. А у нас — хлеба... — Он подвинул Матвею мелко исписанный листок. Многословие листка было совершенно противоположно количеству имеющейся в городе пшеницы. — Ну, видите?

Матвей понял, что рука, передвигающая листок со сведениями о хлебе, есть одновременно и та рука, которая передвигает сейчас судьбу Матвея. В углу синего кабинета с медной люстрой равномерно стучали большие часы. Всегда перемены в судьбе Матвея сопровождались стуком, подобных этим, больших часов.

— Рамаданов умер, — сказал Стажило. — У русского народа есть великое определение смерти: приказал долго жить. Именно, п р и к а з а л. Надо нам исполнять приказание старика. Надо! Но вы видите, что представляет собою это приказание.

— Долгую борьбу, — сказал Матвей.

— Да. Для этого чтобы долго жить, кому-то надо долго бороться. Такие слова в условиях мирного времени могли бы показаться пошлостью. Но при войне их надо повторять чаще...

Он, видимо, приглядывался к Матвею, потому что часто прерывал нить разговора, и то ходил по комнате, потирая лоб, то перелистывал какие-то бумаги, а то спрашивал о чем-то, хотя и нужном, но прямо не относящемся к теме разговора. Спросив Матвея о порядке почетного караула, он, желая дальше не причинять Матвею затруднения таким разговором, сказал прямо:

— Я сегодня говорил по телефону с Наркомом. До этого мы беседовали и с Горбычом, и с Бронниковым, вашим парторгом. Завод и командование выдвигают вашу кандидатуру. Я ответил Наркому на его вопрос: «Кого мы в условиях возможной осады выдвигаем на пост директора СХМ?» Матвея Кавалева.

Он посмотрел в глаза Матвея:

— Вечер оказался не таким, каким его обещало утро?

Матвей ответил секретарю так же иносказательно:

— Раз уж мост выстроили, провалиться в реку труднее.

— Кто собою не управит, так чему другого наставит, верно? — спросил, усмехаясь, Стажило. — Ну а вы собою как будто управлять можете.

— Ой, плохо выходит.

— У других еще хуже! Кто думает, что легко творить самого себя? Палочку обстругать, и то надо подумать. А здесь — человек. Человечек!.. Только подумать, какое слово: человек! Что он совершить не может? Все! Он — человек.

Привыкнув утешать, ободрять и одобрять людей, Стажило мог, когда он был в духе, подбирать такие слова, которые сразу поднимали дух собеседника, причем слова эти для каждого были особенные, и подбирать их и видеть их действие доставляло Стажило большое удовольствие. Так и теперь он с радостью глядел на разгоревшееся и взволнованное лицо Матвея:

— Согласны, Матвей Потапыч?

— Один вопрос, Михал Михалыч.

— Да?

— Вы говорите, возможна осада? Значит, немцы отрежут нас?

— Возможно, временно. Командиру танковых немецких соединений надо исправлять свою побитую репутацию.

— Командиру?

— Да. Полковнику Паупелю.

Матвей побледнел и задрожал. Стажило взглянул на него удивленно:

— А что?

— Я его уничтожу!

— Кого?

— Полковника фон Паупеля.

— Полковника фон Паупеля? А что он вам?

— Он убил Рамаданова! Он!!!

Секретарь разглядел фанатическое пламя в глазах Матвея и подумал: «А из него хороший бы командир партизан вышел». Но, с другой стороны, он уже знал о способностях Матвея к осуществлению новых хозяйственных комбинаций. Цех Кавалева был лучшим не только на заводе, но и на всех заводах прифронтовой полосы. Матвея наполняет инстинкт творчества, а не какой-либо там расчет. Сила его организующей воли необычайна! Он властно влечет за собою большинство... Нет, такого человека нельзя отпускать!

— Ну, положим, не он убил.

— Он организовал это убийство! И я его должен уничтожить.

— Уничтожат другие! — с непонятной для Матвея холодностью сказал секретарь.

Матвей крикнул, протягивая вперед руки:

— Я его должен убить, вместо того чтобы тут с вами разговаривать! Я! Вот этими руками!

Он положил руки на стол и, приближая их к чернильному прибору, такому же тяжелому, как и у генерала Горбыча, сказал:

— Чем попало. Убить! Вот этим прибором! Стулом! Поленом! Колом. Камнем. Разбить череп, ноги, туловище! Все разбить!

Он весь трясся от ненависти. Секретарь видел в своей жизни многое, но п е н у на губах от ненависти он видел впервые. Секретарь молчал. «Пусть выскажется», — сказал он сам себе.

— Он убил всех! У меня нет детей. Но он уже убил моих детей. Он бы убил их, понимаете? Он, он... Думаете, мои родители уедут сегодня? Нет. Он их убьет! Он их стережет...

Секретарь положил свои руки на руки Матвея и сказал:

— Уверяю вас, Матвей Потапыч, что полковник фон Паупель не убежит от нас. Догнать? Хорошо. Я обещаю вам, что вы его догоните, но не раньше, как выполните программу вашего завода. Есть?

Матвей не ответил.

Секретарь придвинул к нему другой листок.

Матвей взглянул. «Программа СХМ по выработке противотанковых орудий должна быть утроена». Так приказывал Нарком телефонограммой.

Матвей вытер мокрое лицо и сел.

— Утроена?

— Да, утроена, Матвей Потапыч.

— У нас больше половины станков эвакуируется.

— Да, две трети.

И секретарь добавил, опять придвигая первый листок.

— Хлеба, как видите, будем выдавать вдвое меньше. Выходит, одна треть станков, половина хлеба, а втрое больше программа по пушкам!.. Трудновато, выходит?

— Трудновато.

— Но ведь и полковнику фон Паупелю трудновато! Мертвым немцам, утонувшим в нашей реке при отступлении, есть что рассказать о подводном мире. Он сделал ошибку. Мы его заставили ее сделать! Ему надо было сначала отрезать наш город, а затем атаковать. А он поступил наоборот. Возможно, что он и еще сделает ошибки, и тогда-то мы настоящему «отблагодарим» его.

— Трудновато!

— Конечно, трудновато. Даже Ленину было иногда трудновато, а у него голова получше нашей была. Трудновато, верно... — Он малость помолчал, а затем глаза у него стали сияющими. — Трудновато, а пушки-то на что? Ведь мы же их делаем, Матвей Потапыч? Ведь не бархат ткем?

Он быстро придвинул к нему листок со сведениями о хлебе.

— Решим так: половине наличного хлеба получит СХМ, а другая половина: городу. Мы идем на жертву. Город согласен поголодать, в случае чего.

Матвей отодвинул листок.

— Нет! Справимся и по первой наметке. Раз решили взять треть, так и возьмем треть. Даю слово, Михал Михалыч — производительности не снизим. Требуем Нарком: на триста процентов увеличить, увеличим.

— А только насчет хлеба, извини, Матвей Потапыч, но это — левачество.

— Увидишь. Приезжай к шести часам. Рабочие уже будут знать, что паек уменьшен. Если половина их не придет на похороны Лариона Осипыча, а кинется взамен того на базар закупать продукты, зови меня леваком и еще как хочешь, Михал Михалыч.

## Глава сорок шестая

Только в машине, возвращаясь из обкома на завод, Матвей вспомнил слова отца — и возрадовался. «Старик-то ведь оказался прозорливым, хотя за ним такого раньше и не водилось. Тому причина, конечно, народные страдания и то, что человек прислушивается и отбирает самое главное. Но отбирать тоже это самое главное-то не так уж легко. Ай да “старик”». Матвея прозорливость отца радовала потому, что за этим мерещилась надежда: там, в Узбекистане, старик окажется полезным и заводу, и семье, и поддержит весь род Кавалевых в их прежней славе. Если ты прозрел немцев, пытающихся отрезать город, то изволь прозреть и недостатки завода и его работы на новом месте, а вместе с тем и то, как устранить эти недостатки! Если ты прозрел желание народа видеть твоего сына на посту директора СХМ, то будь любезен, помогай новому директору на новом месте!..

«Но в чем же помогать? — спрашивал сам себя Матвей. — И какому директору помогать? Короткову? Он же там, в Узбекистане, директор филиала! А разве Коротков примет какую-либо помощь от старика Потапа? Мотю и ту увезет к себе, на свою квартиру, да еще стариков Кавалей и на свадьбу не пригласит... Следовательно, в чем же помогать? Может быть, в судьбе Полины, которая, небось, тоже погрузилась в эшелон и собирается хозяйствовать в Узбекистане?.. Чего ей нужно в Узбекистане? Или, может быть, она опять вышла на улицу? Зачем? И до нее ли теперь улице?»

Точно, улица вряд ли теперь занялась бы Полиной!

Матвей въехал на Круглую площадь. В просинь неба врезались уже порядком пожелтевшие листья лип. По бульварам, по трамвайным путям, нагруженные узлами, которые часто расплзались, в плохо застегнутой одежде, — и преимущественно зимней, — под голос рупоров, которые все еще твердили о седьмом километре, — с измятыми, сырыми и плоскими лицами, с махровыми от пыли и бессонницы глазами, спешили, шли, бежали, спотыкались, ругались, рыдали, проклиная жизнь, покидающие город. В автобусах везли детей и стариков. Трамваи, осипшие от натуги, пытались пробиться сквозь толпу.

Шофер сказал Матвею, что проехать мимо вокзала невозможно. Да и без того Матвей видел, что ему не удастся проститься с родителями: никто из толпы даже и не просил его довести до вокзала. «Что же де-

лать? — думал Матвей. — Вылезти и пробиться? Но завод ждет. Надо составлять эшелоны, а того важней налаживать производство... Надо и похороны организовать...»

Синодов, пожилой рабочий с веселыми сиреневыми глазами, страдающий одышкой, просунул багровое лицо в машину и сказал, пыхтя:

— Возвращайся к себе, Матвей Потапыч, а мы уж тут как-нибудь и без тебя справимся. Я семерых отправляю и все дети! У меня дудка почти прекратила орать, а я все ору-у!..

Лицо у него было хорошее, доброе, и на него приятно смотреть. Десяток таких людей — и никакие эвакуации не страшны! Матвей не утерпел и спросил:

— Десяток вас таких есть?

Синодов рассмеялся:

— Десяток? Три сотни, а то и пять. Сироп, а не люди. Хочешь сигару, Матвей Потапыч? В магазине папирос нету, так мы, смотри, все сигары курим.

Действительно, трое рабочих, тоже, видимо, отправлявшие свои семьи, стояли поодаль, в толпе, дымя сигарами. Матвей взял сигару, закурил и попросил рабочего передать привет родителям. Машина уже тронулась, когда Матвей добавил:

— А если увидишь Полиньку Смирнову, из моего цеха, передай тоже привет. Пусть напишет.

Рабочий, проводив Матвея взглядом, вынул сигару изо рта и, опустив нижнюю толстую губу, задумался. Остальные рабочие, поправляя узлы на плечах, смотрели на него вопросительно. Толпа постепенно выжимала их из себя. Наконец, она притиснула их к деревянному забору — и покинула. Рабочие малость поговорили и, сопровождаемые детьми и женами, зашли в цветочный магазин, находящийся неподалеку от забора.

— Нету колясок, тачек! Ничего нету, — сказал им продавец, уже часа два размышлявший о том — уезжать ему или нет.

— Цветы есть?

— Да кому здесь нужны цветы? Цветы теперь овдовели!

— Эти хризантемы почему?

— Пустое пространство, а не хризантемы. Они живут отдельно. Вам что, граждане, действительно требуются цветы? Значит, кто-то и города не покидает? Однако этот конец не согласуется с началом! Да какие деньги? Берите бесплатно.

Рабочие, однако, положили деньги на прилавок перед удивленным продавцом, который назвал их за это «случайным совпадением», взяли цветы и вышли. Продавец пошел было за ними, но тут вошли еще пятеро. Те трое поздоровались с вошедшими. Продавец сказал:

— Извините, ем только ситный. И любопытство у меня через это как сито, все встречное просеивает. Ушедшие граждане откуда?

- Из СХМ.
- Тэ-кс. А вы?
- Параллельно.
- Тэ-кс. Вам цветов?

Через две улицы из другого цветочного магазина в те же минуты и также с хризантемами вышли люди, груженные узлами и свертками. Они встретились с первыми, когда пересекли Круглую площадь, возле винного магазина, из которого продавцы выкатывали длинную бочку, приятно булькающую. Глаза встретившихся светились тихим и нежным мерцанием. Синодов рассказал о встрече с Матвеем... Продавец, выбивший топором дно из бочки, подошел к Синодову. Мерцание из глаз Синодова казалось, наверное, очень странным продавцу — да и цветы не менее... Продавец знаком попросил горшок из-под цветов.

Синодов беспрекословно вытряхнул землю, стряс землю с корней и засунул цветы под мышку. Продавец, заткнув пальцем дырочку в горшке, черпнул вина.

— Херес! — сказал он громко. — Кто много жил, товарищи, тот много выпил. Нельзя при таких переживаниях, чтобы бочка доставалась немцам. Пейте!

Пальцы, затыкавшие дырочку в горшке, менялись довольно поспешно. Стенки бочки уже отражали солнце как факел. Синодов сказал:

— Что же мы замораживать себя тут будем? Двинули!

Некоторое время спустя, возле эшелонов, уходящих на восток, появились группы рабочих с хризантемами. Рабочие плакали, целовались с детьми и женами, с друзьями, которым там, на далеких арыках, суждено ставить цеха, монтировать машины... целовались долго и жарко, и только разве горем можно было объяснить их забывчивость: поезда ушли, а рабочие остались с букетами цветов, не отдав их ни семьям, ни друзьям своим...

...В шесть часов на СХМ опять приехал генерал Горбыч.

— В семь мы, Матвей Потапыч, назначили гражданскую, — сказал он. — Позже опасались, как бы тревоги не было.

Он глубоко вздохнул, глядя в лицо покойника:

— Прямо зацепило сердце.

Он, сутулясь и передергивая плечами, подошел к Рамаданову и поцеловал его в глянцевый и белый, как береста, лоб. Вернувшись к Матвею и майору Выпрямцеву, он сказал:

— Огромная умица! А ему-то что теперь за дело до того? Питье есть, а чашка разбита. — И он добавил, раскрывая окно: — А в лесу что теперь за воздух, дети! Тонкий, нежный, вся чешуя с тебя спадет.

В окно он увидел заводской двор, цветник с фонтаном. Но фонтана уже не существовало, а вместо того разверзлась братская могила. Здесь, среди своих убитых соратников, будет похоронен и Рамаданов! Один за другим к могиле подносили гробы. «Вот что значит штатские, — подумал с неудовольствием Горбыч, — разве нельзя было похороны организовать

более стройно? Шла бы цепь гробов, а впереди Рамаданов». Но тут же он решил, что, пожалуй, так лучше: мертвые солдаты выстроились, мертвый к строю их подошел командир и мертвые вместе вошли в могилу. «Нет, сколько ты нас, смерть, ни раскалывай, мы, подобно скале, будем стоять, не рассыпавшись», — подумал генерал, и ему стало легче.

Он вздохнул и, глядя на Матвея усталыми старческими глазами, сказал:

— Вы удивляетесь, Матвей Потапыч, что я говорю о лесе? Просто хочется набрать в грудь побольше крепкого здорового воздуха, совершенно необходимого для борьбы.

«Да, воздух необходим, — подумал Матвей, оглядывая собравшихся на последнее прощание. Их было немного: человек двести—триста стояло в коридорах Заводуправления и в комнатах; да на улице, пожалуй, столько же. А должно собраться, — если не считать дежурных, — тысяч до пяти—восьми... Где же остальные? Время приближается к семи. Неужели ушли на базар и в магазины? Матвей, как и обещал секретарю, не скрыл от рабочих, что паек будет уменьшен. — Воздух совершенно необходим, генерал прав».

К генералу подошел Силигура, явно избегавший Матвея. Возле Горбыча уже стоял Коротков, скосив свои темные красивые глаза. Матвей попросил его не уезжать с эшелонами, а догнать их в Москве, самолетом... Коротков согласился с какой-то почти унижительной поспешностью. Неужели он думает, что Матвей все еще ревнует его к Моте? Или же ему хочется показать свою храбрость, оставаясь на СХМ и вводя в дела Никифорова, назначенного старшим инженером?

Генерал, опираясь плечом о притолоку, говорил о немцах:

— Вот все хвалят их комфортабельность. Комфортабельность? Истинный прогресс не держится одной комфортабельностью, как и не держится он простыми экономическими факторами. Немцы действительно ищут комфортабельности, и готовы ради этого весь мир превратить в рабов фашистского государства. Они и войну ищут комфортабельную! Но комфортабельность очень приятная в небольшом количестве, и даже полезная, весьма вредна, когда стремлением к ней охвачена целая нация...

Без четверти семь Матвей предложил генералу Горбычу выносить гроб. Генерал, видимо, не понимавший волнений Матвея, выглянул в окно:

— Еще рабочие не собрались. Обождем полчаса. Я думаю, Лариону Осипычу приятно слушать наш разговор. Когда-то теперь встретимся?!

И он продолжал говорить о комфортабельности войны:

— Многие предполагали, что техника действительно сделает войну комфортабельной и легкой. Однако жизнь показала, что войны год от году делаются все тяжелее и все неудобнее, как бы говоря этим человечеству, что война — занятие, недостойное человека, унижительное, отврати-



тельное! — Генерал обратился к Силигуре, который глядел так, словно бы записывал все слова Горбыча: — Естественно, вы желаете спросить: как же вы, дорогой генерал, состарившись в войнах, находите возможным командовать войсками и призывать их к войне? На это я вам скажу, что меч в моих руках служит делу уничтожения войны, и надо уметь ненавидеть то, что ты хочешь уничтожить. Не правда ли, Матвей Потапыч?

Приехал Стажило. Лицо у него было приветливо-скорбное: приветливое по отношению к тем, которые собрались здесь, и скорбное по отношению к покойному Рамаданову, которого он очень уважал, хотя часто и спорил с ним по хозяйственным вопросам. Но внутри Стажило чувствовал большое раздражение. Он увидел, что на похороны собралось мало рабочих и что Матвей смущен этим обстоятельством. Однако, не подавая вида, Стажило, простившись с покойником, подошел к Матвею и сказал:

— А вы не огорчайтесь, что опаздывают. Вчера стояли с гранатами и бутылками, ну, сегодня отсыплются. Придут.

...Часы показывали 7.45.

Стажило сказал Матвею:

— Не сомневайтесь, что Ларион Осипыч к такому запаздыванию отнесся бы спокойно.

— Не думаю, — сказал Матвей. — Будем поднимать?..

Впереди несли гроб Стажило и Горбыч. За ними — Матвей и Коротков. Долго не могли попасть в такт, и гроб то лез вверх, то опускался вниз, пока генерал тихо, в усы, <не> стал командовать шаг: «Раз, два, раз, два. Ну, и пошли».

Липкие капли смолы выступали на свежем сосновом дереве гроба. Когда вынесли из Заводуправления, последние лучи солнца превратили эти капельки в крошечные кусочки искрящегося золота. Гремел оркестр. Матвей, стараясь отбивать такт ногою, шел возле гроба, и ему хотелось, чтобы гроб был совсем тяжелый... совсем... чтобы придавил. «Ну как же так можно не знать народа? — терзал он сам себя, не спуская глаз с желтых капелек смолы. — Как же так можно обещать? Брать директорство. Заменять кого? Рамаданова?»

Он с трудом оторвался от этих желтых капелек, когда Стажило назвал его имя. Матвей встал возле головы Рамаданова. Глаза его были плотно прикрыты, но Матвей-то знал, что таится за этими глазами.

«Любопытно, молодой человек, — чудился Матвею несколько скрипучий, когда он говорил иронически, голос Рамаданова, — интересно, куда вы направитесь?»

Матвей, глядя в это лицо, говорил, понемногу забывая о непристойно-малом количестве провожающих и о своем обещании секретарю обкома, обещании, похожем на ловушку, в которую он сам же и попался. Ну что ж! Конечно, наврал бесстыдно! Поступил до отвратительности самонадеянно! Ну что ж, будем нести наказание. А сейчас скажем правду: что для нас значил Рамаданов!



— ...Да! Он стоял рядом с Лениным и Сталиным. И он всегда будет стоять перед нами, что бы с нами ни случилось! И мы всегда будем помнить, как накопленное сокровище, слова нашего директора, его поступки, нашего любимого Рамаданова. Его убила фашистская пуля. Его поразила фашистский снаряд. Да! Но миллионы пуль мы выпустим в ответ! Миллионы снарядов, сделанных на этом заводе, в этих цехах, мы выпустим в ответ! Сотни и тысячи пушек мы выкатим в ответ! Беспощадно будем мстить мы фашистским захватчикам, пока не изрыгнет их земля и народы, пока...

Он поднял голову.

В распахнутые ворота неслась песня: «Вихри враждебные веют над нами...»

Бесчисленные колонны входили в ворота. Матвей видел цветы, лица рабочих, венки, слезы, блестящие золотом. Песня, высокая, широкая, ярко-красная, покрывала площадь, могилу, толпу, как скатерть покрывает стол!

Матвей выпрямился. Голос зазвенел у него с силой необычайной и хотя и не покрыл песни, шедшей от ворот, но все же звучал в ней первым голосом:

— Да, он отдал свою жизнь за вашу жизнь, товарищи, и вы понимаете это прекрасно! Так поклянемся же этой жизнью, всегда помнить об его жертве и беспощадно мстить врагам нашей земли и нашей жизни...

Секретарь обкома М. Стажило наклонился к уху генерала и сказал, указывая глазами на приближающиеся колонны:

— Хорошо ответили! Матвей — удачный выбор. Не находите?

Генерал Горбыч не ответил. Глазами, полными слез, он глядел на седого старика, который, подойдя к могиле, наклонился и взял полные горсти земли. Этот старик через два часа уезжал в эшелоне на восток. Он хотел взять с собой родной земли. Земля у нас огромна, и везде она нам родина, но родней родного все же милый наш город и та могила, где лежишь ты, Рамаданов, друг народа!

## Глава сорок седьмая

От сырости, заполнявшей подвал, и в особенности от холодного бетона под ногами Полина и Мотя продрогли так необычайно, что, когда они услышали за коридором, в кухне, русские голоса, они посчитали это сном. Мотя опомнилась первой. Охватив Полину за талию, она повела ее к выходу из подвала.

Полине было приятно чувствовать на себе сильную, смелую руку, легонько и ласково подталкивающую вперед. Они миновали кухню, поднялись по лестнице и выбежали в какое-то белое, облицованное кафелем, зало. Дым и запах горячей бумаги поредел. Полина несколько успокоилась и даже стала упрекать себя: «Как же! Не струсил в немецком лаге-

ре, а испугалась в пустом подвале?» И тотчас она ответила: «Да, но там я могла говорить, возмущаться и негодовать, а здесь, задыхаясь от дыма и ожидая, что плиты упадут на твою голову?»»

Снаряды падали заметно реже. Немногие встречные на Проспекте всем видом своим говорили, что положение наше улучшилось и, может быть, даже немцы отступили. Полина радостно охватила своей рукой Мотину руку и посмотрела в ее наполненные темным и ласковым пламенем глаза. Как хорошо! Весь разговор с Мотей был для Полины не менее важен, чем для Моти, но Полина, приняв решение, должна была долго еще волноваться, говорить, петь, может быть... Мотя напоминала ей родник, закрытый кустами. В жаркий день ты способен пройти мимо него, не заметив его удивительной свежести. Да что ты! Солнечный луч и тот почти не касается его холодной серебристой влаги. Так и живое чувство, едва коснувшись Моти, уже покинуло ее.

Полина, как это часто случается с нами в определении людей, ошиблась, определяя характер Моти. Однако ошибка эта была для нее полезна: мнимая холодность Моти возвышала ее в глазах Полины. Впрочем, приблизительно то же самое думала и Мотя о Полине. Словом, они стали друзьями — теми друзьями, которые редко встречаются и редко переписываются, хотя до конца жизни уважают и ценят друг друга.

Старики Кавалевы еще не возвращались из бомбоубежища. Мотя помогла Полине собрать жалкий скарб ее. Собирая свои вещи, Полина заметила, что старики тоже куда-то собираются, наверное, в Узбекистан. Значит, туда, возможно, уезжает и Матвей? Полина загрустила. Ей стало жаль расставаться, без прощанья, с Матвеем... но она твердила про себя: «Так лучше, так лучше», — хотя что лучше она и сама себе не отдавала отчета. Все же, повторяя эти слова, она переехала к худощавой и длинной аккомпаниаторше своей, в ее крошечную, как ореховая скорлупа, уютную комнатку.

Сложив на коленях руки, она безмятежно, — как ей думалось, — глядела на аккомпаниаторшу, расставлявшую радостно чайные чашки по столу. Приятно видеть крашенные волосы Софьи Аркадьевны, неизменный черно-бурый мех на шее...

— Софья Аркадьевна, а если немцы?

— Что, Полинька, немцы?

— Если немцы придут?

— Ну и что же?!

— А как же черно-бурый мех?

— Мех продадим в комиссионном и уйдем отсюда пешком. Вам теперь, небось, Полинька, все дороги знакомы?

— Да, знакомы... — И она добавила с легкой грустью: — Те, по которым уходят, Софья Аркадьевна.

«Ну что? — думала она. — Замолк гром. Гроза устала шуметь. Скоро потемнеют небеса, и среди грозных туч приветливо засияет полоса ла-



зури. Так, кажется, сказал поэт. Какой? Неважно. Ибо то, что припасает лето, поедает зима. Так и с чувствами. Грусть поедает все».

Затем она явилась в радиокомитет. Пропуск ее проверил все тот же милиционер, пахнувший луком и сапогами. Только теперь он не осведомился: почему она поет под фамилией Вольская, когда она Смирнова. Слушатели не сидели, ожидая ее, вдоль стен зала студии, и даже диктор не поцеловал ее руку, лишь он — единственный! — спросил ее:

— С фронта вернулись, Полина Андреевна?

— А разве здесь не фронт? — ответила Полина.

Никто ее не расспрашивал. Никто ее не хвалил: ни ее пенье, ни костюм. С трудом выдали ей пропуск в столовую работников искусств — город начинал голодать. Хлеб стал черен, как туча, предвещающая грозу. Детишки хозяйки, у которой аккомпаниаторша сняла комнату, глядели на кошелку, всюду теперь таскаемую Полиной, испуганно-молящими глазами. Полина приносила им пищу. Она скоро привыкла спрашивать на концертах у какого-нибудь директора клуба кусочек хлеба для детишек. О, она знала, что кусочек где-то лежит! И, точно, директор, пошептавшись, приносил ей на тарелке вязкий и тонкий ломоть. С каждым концертом ломти эти укорачивались и утончались, детишки все чаще и чаще проходили мимо ее комнаты. Угол комнаты, где она жила, занимало какое-то тропическое дерево с корнями, вылезшими из кадки, и глянцевыми толстыми листьями, похожими на жуков. Старшая девочка — ей было лет девять, — то и дело протирала эти листья мокрой тряпкой.

Полина глядела в ее ввалившиеся глаза. Почему они напоминали ей глаза Матвея? Где-то он теперь? Приехал ли в Узбекистан? Смонтировал ли свои станки? Нашел ли помещение для цеха?.. День стихал. Краски его смягчались, кладя на все отпечаток мягкой трогательности и нежности. Девочка трет листья, тихоньким голоском отвечая на вопросы Полины. Внезапно раздается — трех, трах!.. Причем первый звук почему-то кажется осечкой. С Круглой площади, на которую выходит одно окно домика, вылетает громадный огненный сноп. Девочка, прервавшая ответ, не прерывает обтиранье листьев. Тревоги так часты, что люди уже не ходят ни в щели, ни в бомбоубежища, да и к тому же перепадают дожди, и в убежищах сыро и холодно. Что же будет зимой?

Концерты проходили быстро и все днем. Слушали Полину внимательно, преимущественно торжественные, протяжные песни. Слушали и «Песню о хорьке», но бисировать не просили, и Полина поняла, что она уже не обладает тем задором, который раньше так зажигал и веселил людей. Теперь на бой влекли ее трогательные и нежные песни. «Ну, что же, не все ли равно, что петь, лишь бы песня вела на бой?» — думала Полина, зная, что искусство дня, каким является песня, более изменчиво, чем самый ветреный человек. Иногда вечером вы идете мимо железнодорожной насыпи. Быстро, постукивая колесами, пробежит мимо вас поезд, промелькнут огни, и через мгновение уже не слышно шума и не

заметно огней. Так и искусство, так и аплодисменты. Уже то великолепно, что люди способны сейчас слышать. Ведь они стоят в строю, накануне боя, держа штыки, и глаза их разве не похожи на холодный блеск этих штыков?

Она думала: «Как права Мотя, не признающая таинственной власти искусства!» Мотя целовала ее, там, на краю бетонного колодца, перед самой смертью, и уж, конечно, обе они были совершенно искренни. Целуя, Мотя сказала, что Матвей знал, что Полина Смирнова — есть Полина Вольская. Знал, но тем не менее прельстился не искусством — чем может его прельстить пенье? — а очарован был ее званием — заслуженная артистка республики — и красотой. Тогда, у бетонного колодца, Полина поверила Моте, но сейчас так хотелось верить в очарование именно искусства. «Да, Мотя права, но права только для себя, ей это выгодно, а не выгодно всем остальным людям». И тотчас же Полина спрашивала сама себя: «Хорошо, а Матвей?» И — ответа не было, а если и был, то он никак не нравился Полине.

Полина опять возвращалась к мыслям о Моте, и чем больше она думала о ней, тем больше ее понимала — и уважала! Во-первых, ей стало понятно, что Матвей не знал ее как Полину Вольскую. Мотя нагала. Во-вторых, нагала Мотя из самых благороднейших, чистейших побуждений: не веря в таинственную власть искусства, она верила в таинственную власть звания и красоты, которой, по ее мнению, обладала Полина. И, наконец, в-третьих, Мотя, так любившая домашность, дом, семью, будущего мужа, будущих детей и видящая будущего мужа и отца детей в Матвее, — ради счастья Матвея отказалась от всего! Преодолевая свою трусость, она пошла под пули. Преодолевая свое благонаравие и способность к созданию благополучия, она готова была целоваться с разрывающейся бомбой, какой представляется всем Матвей... «Ну разве это не величественно, не прекрасно?» — спрашивала Полина. «Да, прекрасно и величественно, — отвечала она. — И очень хорошо, что Мотя будет счастлива с Матвеем там, в Узбекистане». Об инженере Короткове, упоминаемом Мотей, она не желала и вспоминать: неполучившаяся жертва суть не жертва, да и без того Мотя свершила достаточно жертв.

В местной газете она читала только сводки Информбюро, на остальное не существовало ни желания, ни времени, к тому же, как ей казалось, современные журналисты обладают на редкость суконным языком, способным унижить самые великие подвиги. Почитать только, как они излагали защиту СХМ и Проспекта: «Ожесточенная схватка... оголтелый враг... умелое руководство... организация передачи опыта...» Ей, привыкшей читать фразы, похожие на порталы дворцов, и разбирать метафоры, стройные, как призовые рысаки, бедность словаря журналистов-газетчиков казалась издевательством и над жизнью, и над читателем. Она не понимала, что статьи и стихи газет сейчас исходят из идеи боевого приказа: коротко, ясно, исчерпывающе указать, что делается и что надо

делать. Позже историк или писатель разберет эти приказы и опишет их превосходными фразами с великолепными метафорами и сравнениями.

Однажды, — ожидая второго в очереди за обедом, — она прочла весь номер газеты. В хронике она нашла описание какого-то собрания на Н-ском заводе, где с докладом выступил директор завода М. Кавалев: «Так, стало быть, Матвей уже директор?» — спрашивала она себя. — Быстро! Ведь прошло едва ли три месяца с того дня, когда он, будучи только стажером на мастера, встретился со мной. — Она нарочно, дабы не придавать своим мыслям большого значения, путала даты. — Прекрасно! Теперь вы, Матвей Потапович, уже можете ленивой рысцой бежать к орденам и депутатству...»

Она взяла тарелку с картофельной котлетой, посыпанной чем-то желтым, и отошла к столику. Диктор уступил ей место. Она позабыла поблагодарить его. Она старалась думать о Моте, а в то же время представляла Матвея, когда он, — по ту сторону фронта, — в холщовых крестьянских штанах, запачканных дегтем, с веткой в руке, похлестывая ею по голенищу, шел по узкой дорожке между двух высоких стен пшеницы. Колосья задевают о его лицо. За ноги цепляются поздние и тощие ромашки. Какие-то бойкие птички, крича, вспархивают из пшеницы...

«Что Мотя! Она найдет себя. Она, наверное, счастлива с Коротковым, у обоих такие короткие мысли и такая подходящая обоим фамилия, — подумала она вдруг со злостью, и сама застыдилась этой злости. Но тотчас же, отбрасывая этот стыд, она сказала: — Но ведь в газете не написано, что директор М. Кавалев холост и в таком виде выступал на собрании? К этому “оживление газетных страниц” еще не подошло. Значит, Мотя в городе, на СХМ, и — жена Матвея! А наговорила она высоких вещей и нацеловала ее, Полину, лишь для того, чтобы спроводить, чтобы не мешала... Вот, мол, взял ты, муженек, девчонку с улицы, а она и ушла на улицу!»

— Вот вам и вся мораль и все пороки! — сказала она вслух.

Она остановилась.

Городской сад, спускавшийся к реке, лежал перед нею за решеткой. Многие деревья были порублены и употреблены на баррикады, но и по оставшимся можно было понять, что осень тронулась. Побуревшие, — в охре, — листья дубов звенели в осеннем напеве. По небу, не обращая внимания на взрывы, извечной дорогой летели на юг птицы. Облака блещут над ними, кидаемые осенними, резкими порывами ветра. Ввысь взлетает птица. Крот ползет в нору. А куда ты, человек, направляешься? Где же ты зимуешь? Где твоё тепло?

«В сердце! — ответила Полина. — В сердце, которое любит и не стыдится этой любви. Вот куда спасается человек от зимы, холодов и вьюг!»

«Следовательно, вы любите, Полина Андреевна?»

«Да. Люблю».

«Кого же вы любите?»

«Ах, вам хочется знать? Извольте! Я скажу и не постыжусь теперь сказать об этом всякому, кто спросит. И даже если и не спросит! Я люблю Матвея. Вот вам вся мораль и все пороки!»

## Глава сорок восьмая

Она поспешно вбегала в тесные сени. Старшая девочка открыла ей дверь. Глаза девочки были еще более молящие, чем когда-либо. Полина поспешно отдала ей весь хлеб, который принесла. Девочка сначала засияла, а затем опечалилась. Ей не хотелось возвращать хлеба, но все же совесть не позволяла ей лгать. Она сказала:

— А сегодня в будке, тетенька Полина, вывешено, что хлеба не будет.

— В какой будке?

— А в хлебной. — И с трудом пересиливая себя, она пояснила: — Немцы-то ведь уж три недели наш город отрезали. Хлеб и кончился.

— Да, да, я знаю, что отрезали! Но хлеб бери, бери, мне еще принесут.

Девочка опять обрадовалась. Она понимающе кивнула головой:

— Генерал?

— Какой генерал?

— А который вас в комнате ждет.

В комнатке ждал ее генерал Горбыч.

Увидев ее, он тяжело поднялся с жесткого дивана, опираясь о его валики обеими руками, вялыми, бледными. «Боже мой, как он постарел!» — подумала Полина, и у нее пропала охота, — появившаяся, когда она узнала, что генерал здесь, — посоветоваться с ним о своей любви. «До любовных ли ему теперь излиятий?» — подумала она с горечью и, подбежав к нему, она положила ему руки на плечи:

— Микола Ильич, если б вы знали, как я счастлива вас видеть!

— Чего?

— И странно, что раньше я не собралась к вам пойти, Микола Ильич! Все было б по-другому.

— Да что такое — все? Разве вы способны охватить всю человеческую жизнь?

Горбыч явно был смущен. Он взял фуражку и положил ее со стуком обратно на стул и стал так багров, что, казалось, багровость его проступала сквозь рубашку. Чтобы ободрить его, Полина сказала:

— А вас, Микола Ильич, осень красит.

— Да, говорят, мертвецов некоторых тоже перед похоронами красят, — ответил он угрюмо. Затем он шумно высморкался и, не отнимая платка от носа, спросил, глядя на нее с высоты своего высокого роста: — Чего ж вы не ругаетесь? Вы не обращайтесь внимания, что я себя мертвецом называю. Я всегда так, когда у меня внутри серп ходит.



— Какой серп?

— Тот самый: зазубренный кривой нож для жатвы. Только я им мысли жну... Ну, ругайтесь!

— Почему мне вас ругать, Микола Ильич?

— Матвей вам разве не передавал?

— Ничего! — И она поспешно добавила: — Мы с ним давно уже не встречались. Я видела его мельком перед первым штурмом завода...

— Давно!

— И что же?!

— Жаль, что он не сказал. Мне самому... гораздо неприятнее. Словом, был случай. Я вас бранил. И сильно!

— Мало ли кого мы не браним. И сильно! Ведь война.

— Брань брани разнища, как сон сну. Бранил же я вас, Полина Андреевна, совершенно несправедливо и, выходит, подло. Сознаюсь.

Он запыхтел, высморкался:

— Вообще, как я заметил, деремся мы как львы, а ругаемся как... — он замялся и добавил: — ...как базарные торговки, мягко выражаясь.

— Да, меня Матвей Потапыч принял за одну такую базарную торговку.

Горбыч умоляюще поглядел ей в глаза:

— Ради дружбы с отцом, не сердитесь вы на меня, старого дурака. И Матвей мне казался мелким, и ваша любовь к нему тоже выдуманной, пустой!

Полина хотела сказать: «Да нет же, не выдумана и не пустая во-все», но она не могла набрать в себе сил, чтобы сказать это. Она сказала только:

— Как я могу на вас сердиться, Микола Ильич? Вы перегружены работой...

— Все перегружены, — сказал он с неудовольствием. — Нечего ссылаться на перегруженность. Итак, прошлое забыто, да?

— Если плохое, забыто.

— Хорошее кто забудет!

Он сразу развеселился, стал перебирать книги, уже натасканные аккомпаниаторшей, — и не одобрил их.

— А почему по философии нет?

— Мне не нравится философия. Она усложняет мир, и без того сложный.

— Поете?

— Много. Да я ведь вообще певица, Микола Ильич! Я оттого и с завода ушла. Я почувствовала, что не могу не петь. Я обязана петь!

— Все мы певцы, каждый по-своему, — сказал Горбыч. — Но раз вы певец преимущественно, то, разумеется, вы мне скажете, что самое главное у певца?

— Голос, — смеясь, сказала Полина.



— Самое важное — вовремя прекратить пение.

Полина подняла на него большие голубые глаза.

— Вы хотите сказать, что я должна уехать?

— Я — от Стажило. Вы его знаете, Михал Михальча. Стеснительная личность. Сам-то, говорит, я стесняюсь, она из-за моего разговора уже однажды убежала на СХМ, бог ее знает, куда она теперь убежит.

— Ехать?

Горбыч вздохнул:

— Положение, поймите, тогда было такое. Полковник фон Паупель превысил допустимую теорией плотность танковой атаки. Вы понимаете?

Полина хотела сказать: «Я сама-то себя не понимаю, а тут еще вас понимай», но сказала другое:

— Конечно.

Генерал, оживляясь, говорил быстро. Приоткрылась дверь. Вошла девочка с длинной мокрой тряпкой, которая почти волочилась по полу. Не отрывая глаз от высокого, усатого генерала, она прошла к цветку и стала его обтирать. Девочка эта напомнила генералу известное описание Толстого совещания в Филях. Генерал разгладил усы, и ему захотелось объяснить Полине свой новый замысел, в то же время не вводя ее в сущность этого замысла. Положение затруднительное, — и генерал стал многословен:

— Превышение плотности затруднило движение танков. Это все равно, как если б в коробку спичек, вмещающую пятьдесят штук, вы попытались впихнуть двести. Ясно, коробка распадается. Танки от превышенной плотности движения несли чудовищные потери. Наш заградительный огонь был великолепен, голубушка! Слава тому человеку, который придумал первый огонь. Огонь осветил темную пещеру его жизни — и освещает далеко вперед наше будущее.

Дальше он заговорил спокойнее:

— Огонь с танка — это суть огонь с машины, находящейся в движении, огонь по плохо наблюдаемой цели на плохо известной местности. Кто ведет танк? Страх, если против танка стоит...

— Дедловка, — сказала Полина, с трудом отрываясь от своих мыслей.

— Ах, да! Зачем я вам все рассказываю, когда вы сами бросали гранаты в танки.

— Да не бросала я гранат! Я просто, как мокрая курица, почувствовав себя певичей, сидела и кудахтала в подвале.

Она подошла вплотную к генералу:

— Микола Ильич! У вас есть поручение, подобное тому?..

Генерал замахал руками:

— Нет, нет... Что вы! Куда там! У меня после той вашей поездки целый месяц сердце болело. Какое затемнение нашло тогда на меня?..

— Но поездка моя помогла победе?

— Не получилось победы! — крикнул генерал так громко, что девочка выбежала из комнаты. — Мне, старому дураку, надо было осуществить параллельное преследование, то есть, стремясь выйти в голову отходящих колонн, окружить их и уничтожить дотла.

— Почему же вы этого не сделали?

— А почему вы думаете, что я э т о г о не с д е л а л?

— Позвольте, но вы же сами сказали!

— Я сказал: «Мне надо было осуществить», а это еще не значит, что я не осуществляю этого.

Он рассмеялся. Полина оглядела его. Вот тут, смеясь, он, действительно, молодой. Он стоял высокий, выпятив грудь и расправив усы, — старый, внушающий ужас немцам, солдат! Да, понятно. Вид его мог действовать на воображение противника! Наверное, с уст в уста немецких солдат идет молва об этом желтоволосом льве. Волосы его чуть отливают по краям желтизной, а молва, несомненно, окрасит их в желтый, ужасающий цвет льва!..

Он продолжал, смеясь:

— Когда я узнаю, что Гитлер дал полковнику фон Паупелю чин генерала, мне будет ясно: мои войска вышли в голову отходящих колонн.

— Но при чем тут производство в генералы?

— Перед тем как уничтожить плохого, провалившегося, но знаменитого полковника, лучше всего его превратить в генерала. А у генерала легче снять голову. Кто жалеет генералов? По-моему, так думает диктатор.

Горбыч сел рядом с Полиной, взял ее руки в свои и сказал:

— А вам я предложу транспортный самолет. Не знаю, прорвемся ли мы на соединение или наши прорвутся к городу, но самолет доставит вас благополучно.

— Самолеты ходят, но я не смогу ходить благополучно.

— Отчего?

Полина хотела сказать: «Да оттого, что мне хочется видеть, как наши войска выйдут в голову отходящих немецких колонн!», но, подумав, что генералу это будет и не любопытно, и не лестно, — потому что меньше всего он хотел беседовать с нею о своем замысле, — Полина сказала:

— Да оттого, что я люблю и любовь моя живет в этом городе! И, если сказать по совести, Микола Ильич, то мне ужасно хочется выйти за него замуж.

— За кого?

Она кинулась ему на шею и сказала тихо на ухо:

— За того, любовь к кому вы называли выдуманной, пустой!

(Окончание следует.)

# НОВОСИБИРСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — 90 лет



## ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ

*Новосибирские писатели о себе\**

Новосибирская писательская организация (НПО) — новосибирское отделение Союза писателей России. Основана в марте 1926-го, когда на 1-м Всесибирском съезде писателей было принято решение организовать Сибирский союз писателей, позднее преобразованный в Новосибирское отделение Союза писателей России. Инициаторами создания союза были Владимир Зазубрин, Михаил Басов, Феохтист Березовский и Емельян Ярославский. НПО до 1991 г. входила в Союз писателей СССР в качестве областного отделения СП РСФСР. Объединяла в творческий союз писателей Новосибирска и Новосибирской области. История Новосибирской писательской организации тесно связана с судьбами нашей страны и нашего народа. Не обошли стороной Новосибирскую писательскую организацию репрессии тридцатых годов, погибли Владимир Зазубрин, Вивиан Итин, Валериан Правдухин, Михаил Басов, Георгий Вяткин... Тяжелейшие военные годы унесли жизни многих новосибирцев. Не вернулись с фронтов Великой Отечественной писатели Евгений Березницкий, Борис Богатков, Георгий Доронин, Николай Кудрявцев, Сергей Ломакин, Георгий Суворов, Владимир Чугунов, Николай Шешенин. Многие из ветеранов НПО прошли фронтовыми дорогами и создали интереснейшие произведения о военном времени.

Произведения новосибирских писателей были широко известны в Советском Союзе и за его рубежами. Достаточно вспомнить имена Владимира Зазубрина, Лидии Сейфуллиной, Сергея Залыгина, Елизаветы Стюарт, Григория Федосеева, Михаила Михеева, Юрия Магалифа, Афанасия Коптелова, Анатолия Иванова, Елены Корнатовой, Владимира Сапожникова, Ильи Лаврова, Николая Самохина, Василия Коньякова.

Редакция журнала «Сибирские огни» поздравляет коллег-писателей с юбилеем, желает им творческого долголетия и успехов на ниве сибирской литературы.

**Редакция**

\* Публикуется по изданию: Писатели о себе. Сборник. — Новосибирск, 1973.



## Василий КОНЬЯКОВ



*Василий Михайлович Коньяков родился в 1927 г. в деревне Уфимцево Кемеровской области. С 1944 по 1951 г. находился в рядах Советской армии, участвовал в боях против Японии. Первая повесть «Цвет солнечных бликов» опубликована в 1962 г. в «Сибирских огнях». Автор книг прозы «Не прячьте скрипки в футлярах», «Снегири горят на снегу», «Далекие ветры» и других. Умер в 1998 г. в Новосибирске.*

...В 1944 году я был призван в армию. И уже там, в армии, мне исполнилось семнадцать лет. Новосибирский запасной артиллерийский полк готовил пополнение на фронт.

По десять часов в артиллерийском парке на морозе. В шинели. В ботинках. На военном армейском пайке — не до поэзии.

И все-таки ночью на нарах я прочитал своим соседям стихи. Кажется, в них было о том, что из казармы пахло дымом и он принес запах горячего хлеба. Это напомнило... и т. д.

Утром эти стихи пошли домой в солдатских письмах. Потом матери присылали своим сынам посылки с сушками и сухарями с неизменной припиской: угости, сынок, того солдата, что написал тебе про горячий хлеб. Это был мой первый гонорар.



Солнечное затмение. Двор дома писателей по ул. Челюскинцев. 1936 г.  
 Фото М. И. Ошарова



*Илья Михайлович Лавров родился в Новониколаевске в 1917 г. В 1936 г. окончил Новосибирское театральное училище. Работал драматическим актером. Первый сборник рассказов «Ночные сторожа» вышел в 1955 г. Автор повестей и романов «Зарубки на сердце», «Девочка и рябина», «Встреча с чудом», «Путешествие в страну детства» и др. Умер в 1983 г. в Новосибирске.*

...Я всегда воспринимал жизнь как чудо. И верил, что наша обыкновенная жизнь и есть необыкновенное счастье. Вот это восприятие, эта поэзия окружающего и легли в основу всех моих книг.

Нужно не просто описывать жизнь, а воспевать ее. Тот не художник, который не может видеть поэзию жизни. А жизнь наша полна красоты, как береза соком. Но ведь сок не видишь в дереве, так же можно не видеть и красоту в окружающем. Дело писателя — эту затаенную красоту сделать видимой для читателей и этим обогатить их, приблизив к будущему. Видит человек сок жизни — он богат, не видит — бедняк.

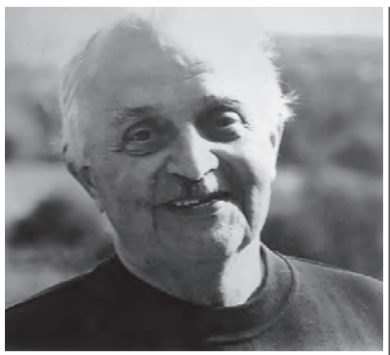
А человек! Разве же это не чудо? Что за барская манера делить людей на больших и маленьких? Есть дураки, мещане, ремесленники. Вот это «маленькие люди». Но каждый нормальный человек — будь он министром или ночным сторожем — это удивительный сложный мир. А на счет дел... Так можно быть маленьким в большом деле и большим — в маленьком.

Борясь против оскорбительного названия простого человека «винтиком», я и брал в герои своих рассказов ночных сторожей, парикмахеров, проводников, продавцов, кукловодов, стремясь показать их напряженную духовную жизнь, поэзию их сложных и тонких чувств.

...Я всегда внутренне протестовал, когда некоторые критики называли моих героев «маленькими людьми». Да разве может быть «маленьким» человек с глазами поэта? Воспринимающий мир как художник? Да разве продавец маленький, если он может любить, а увидев в окне зеленую, лохматую звезду, может вздрогнуть, как от загремевшей музыки?

Конечно, на фоне твердокаменных, напористых до нахальности, все подминающих под себя, говорящих лозунгами «героев» мои люди-художники порой выглядели пассивными созерцателями. Но эти легко ранимые, трепетные, на все чутко отзываемые люди были порождены тоской о человечности в литературе. И, право, если читать рассказы внимательно, учитывая все самые мельчайшие детали, то можно увидеть, что мои герои не были такими уж пассивными. Нет, они не были такими. Это были просто живые, обычные люди. Я не хотел делать из них «героев», я лишь хотел, чтобы они жили и дышали на страницах книги.

## Юрий МАГАЛИФ



*Юрий Михайлович Магалиф родился в 1918 г. Детство и юность прошли в Ленинграде. В 1935 г. был репрессирован вместе с матерью и сослан в Казахстан. Вернувшись, учился в театральном институте на актера-чтеца. В 1941 г. арестовывается по 58-й статье, отбывает наказание в лагере недалеко от Новосибирска. В 1946 г., после освобождения, начинает работать в Новосибирской филармонии. Первая книга «Приключения Жакони» издана в 1958 г. Автор более трех десятков рассказов, пьес, повестей. Умер в 2001 г. в Новосибирске.*

...Сказка «Приключения Жакони» задумывалась для радиопередачи. Писалась быстро, легко. Она дорога для меня тем, что тряпичная обезьянка Жаконя действительно существует — живет в коробочке, а коробочка бережно хранится в шкафу. Жаконе более полувека; он единственное (если не считать двух-трех фотографий) напоминание о далеком детстве, о доблокадной ленинградской жизни; к этой тряпичной куколке прикасались материнские руки. В нашей семье — давний культ Жакони. Могу ли я относиться равнодушно к этому невыдуманному сказочному персонажу?

...У нас в Сибири для детей, для «младших школьников» пишут почему-то мало. И просто удивительно: почти никто не выдумывает сказок.

Они так нужны! Именно — большие сказки-повести.



Александр Смердов и Анатолий Никольков. 1960-е гг.



*Михаил Петрович Михеев родился в 1911 г. в Бийске. Окончил Бийскую профессионально-техническую школу, работал на Бийском авторемонтном заводе. Автор фантастических романов «Вирус В-13», «Тайна белого пятна», множества приключенческих повестей и рассказов. Основатель Клуба любителей фантастики при Новосибирской писательской организации. Умер в 1993 г. в Новосибирске.*

...В эту пору я особенно часто писал стихи. Чаще всего это были вольные импровизации на мотивы модных тогда песенок, разных там «Кирпичиков», «Мурук» и прочих произведений из прибалтненного фольклора. Писалось легко и быстро, и я не придавал этому занятию значения. Даже когда моя песенка про Кольку Снегирёва широко пошла странствовать по Сибири (а на Чуйском тракте ее можно услышать и сейчас), я и тогда не сделал для себя какого-либо практического вывода. Я любил электротехнику, считал ее — да и сейчас считаю — лучшей технической специальностью и намеревался посвятить ей всю жизнь.

Но юношеские увлечения не проходят бесследно...

Мне было уже сорок лет, когда я вдруг решил вспомнить свои стихотворческие занятия и написал сказочку для детей «Лесная мастерская».

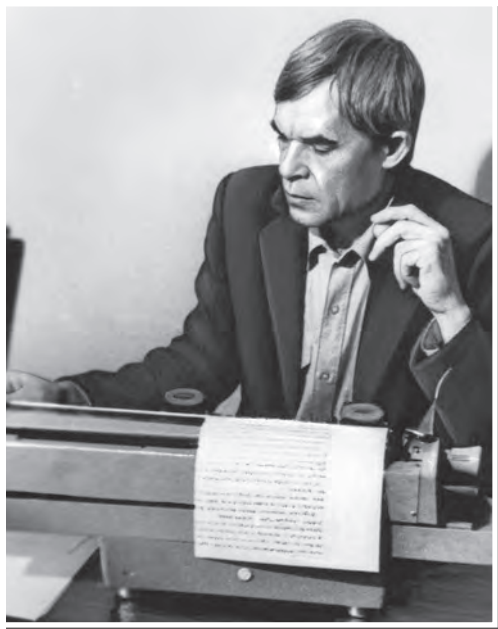
Первый печатный успех заставил меня задуматься. Я еще не забыл свои юношеские восторги от знакомства с приключенческими книгами, от знакомства с сильными и яркими людьми, которые мало чего боялись и которым многое удавалось... У меня была семья, взрослые дети, хорошая работа — мои конструкции электролечебных аппаратов получали дипломы на всесоюзных выставках; и вот я забросил все свои схемы и чертежи, воображение мое сразу заполнилось буйными героями и фантастическими сюжетами, я породил все эти образы и потонул в их потоке; после долгих трудов мне удалось кое-как распределить весь материал в нужной последовательности, и получился «Вирус В-13».

С той поры прошло два десятилетия... полтора десятка напечатанных книжек. Сочинительство стало моей основной и, видимо, последней профессией.

Уважение к приключенческой литературе я сохранию на всю жизнь. Я благодарен ей; повторяя слова Горького — я обязан ей всем, что во мне есть хорошего. Увлечение ею в юности, в пору становления характера, воспитывало меня, заставляло подражать ее героям, учиться у них мужеству, упорству и тому романтическому отношению к женщине, которое всегда являлось для меня мерилom цельности мужского характера.



*Николай Яковлевич Самохин родился в 1934 г. в селе Утянка Хабарского района Алтайского края. В 1958 г. окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта, работал в проектно-институте, мастером на стройках Академгородка. Одновременно начал работать журналистом в ряде изданий. Творческий путь начал с юмористических рассказов. Автор повестей «Рассказы о прежней жизни», «Где-то в городе, на окраине», «Тоськины женихи» и многих рассказов. Покончил жизнь самоубийством в 1989 г.*



...Помню.

Мне было лет восемь-девять. В один прекрасный день на нашей заводской улочке Аульской готовилось очередное сражение между красными и синими. По этому случаю происходила раздача званий. Красными командовал, разумеется, Клим Ворошилов — самый почитаемый на улице сорванец. Под рукой у него были такие прославленные полководцы, как Чапай, Александр Невский, Суворов и Будённый. В синие с большой неохотой согласились пойти Григорий Котовский, Пархоменко, Щорс и Великий Моурави.

— А ты кем будешь? — спросили у меня.

Я только прочел удивительную книгу Соловьёва «Насреддин в Бухаре», был свежо влюблен в ее героя, побеждавшего свирепых воинов и могучих правителей одной веселой мудростью, и потому заявил:

— Я буду Ходжа Насреддин.

Ну ладно, Ходжа так Ходжа. Ребята с нашей улицы почти не читали книг — им негде было их взять. Раз человек желает быть каким-то Ходжой — значит, существовал такой полководец. Меня даже приняли в красные.

Но оказалось, что это еще не все.

— А как зовут твоего коня? — спросили они. — Вот у него, — кивок в сторону напыжившего грудь Будённого, — коня зовут Казбек.

— У меня не конь, — тихо сказал я. — У меня ишак.

...Разве я мог знать тогда, что делаю выбор на всю жизнь.



*Елизавета Константиновна Стюарт (1906—1984) родилась в Томске. С 1932 г. жила и работала в Новосибирске. Начала печататься в 1929 г. как детская поэтесса, в 1943 г. выпустила первую книгу стихов. В военные годы служила в сибирском отделении ТАСС. В конце 1940-х подвергалась критике за «ахматовщину». Автор 16 поэтических сборников и нескольких десятков детских книг.*



...Людьми преклонного возраста свойственно пересматривать свой жизненный путь и сокрушаться о том, что сделано слишком мало и не так хорошо, как хотелось бы. Я — не исключение и сокрушаюсь об этом тоже. Но что пользы сокрушаться о том, чего нельзя вернуть и исправить?

Твердо знаю только одно: то, что я делала в своей работе поэта, я делала, не поддаваясь прихотям капризной моды или конъюнктуры, вкладывая в сделанное не только профессиональное умение, но и опыт своей души.

И я буду бесконечно благодарна жизни, если она позволит мне до конца не складывать своего писательского оружия, а то, что я пишу, будет находить отзвук в чьих-то сердцах.



Кондратий Урманов, Александр Куликов и неизвестный на охоте

## Илья ФОНЯКОВ



*Илья Олегович Фоняков родился в 1935 г. в г. Бодайбо Иркутской области. В 1957 г. окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Публиковаться начал с 1950 г. Первая книга стихов «Именем любви» выпущена в 1957 г. Работал собкором «Литературной газеты». Был председателем совета по работе с молодыми авторами Новосибирской писательской организации. Умер в 2011 г. в Санкт-Петербурге.*



...Опасно превращаться в «профессионала», подкарауливающего вдохновение, прислушивающегося к себе, радостно кидającegoся запечатлеть на бумаге любое, даже случайное, шевеление души своей. Пусть поймут меня правильно: я веду речь не об одной только материальной зависимости от вдохновения, хотя эта зависимость тоже является реальной опасностью. Я говорю о вполне достойном уважении творческом «зуде», о боязни простоя, страхе деквалификации («а не разучился ли?») — вещах, знакомых любому художнику. Именно в такие минуты рождается большинство вялых и необязательных «неплохих» стихотворений, представляющих наибольшую опасность для поэзии, гораздо большую, чем просто плохие стихи, лежащие за ее пределами.

...Говорят: поэзия — крик души, беспощадная обнаженность ее.

Как ко всяким метафорическим определениям, к этим определениям надо относиться с большой осторожностью.

Разумеется, нельзя лгать в стихах. Не «нехорошо лгать», а просто нельзя. По самому существу поэзии. Поэзия — это искусство говорить правду.

Но нельзя быть и болтливым.

Есть откровенность и есть откровенничество.

Поэзия — искусство. Искусство предполагает меру.

Нельзя «выбалтывать» себя до дна: корабль с пустым трюмом опрокидывается в шторм.

Разорванная на груди рубаха, размазанные по лицу слезы «на миру», кажущиеся иным проявлениями «души» и «чувства», никогда не вызывали у меня сочувствия. Поэзия — это культура чувств.

## Александр ПЛИТЧЕНКО



*Александр Иванович Плитченко родился в 1943 г. в Новосибирской области. Окончил среднюю школу и три курса педагогического института. Автор нескольких поэтических книг и книг прозы, а также переложений алтайского и якутского эпосов, поэтических переводов с турецкого, алтайского, якутского, тувинского, польского, немецкого и других языков. С 1993 по 1997 г. возглавлял Новосибирскую писательскую организацию. Умер в 1997 г. в Новосибирске.*

...Я понял, что не надо и думать, если пишешь, поймут ли тебя, понравятся ли твои стихи, напечатают ли их. Надо стремиться к одному — как можно искреннее, честнее и точнее сказать то, «чем жила и болела душа». И не строчки рифмовать учиться, а учиться жить среди людей и принимать сегодняшнюю жизнь такую, какая она есть на самом деле в большом и малом, и, приняв, думать и стремиться к тому, чтобы она стала лучше, а не вгонять сегодняшнюю действительность в рамки своего идеала, не отбирать в ней только то, что тебе необходимо для иллюстрации своих представлений о жизни.

Я понимаю, каждый видит в поэзии свое. Так же по-разному видят березу лесоруб, пейзажист, лесничий, жук-древоточец. Но ведь кроме их точек зрения есть еще и сама береза, и у нее просто нет выбора — стать ли двумя кубометрами дров или качать птичье гнездо на ветках. Просто нет выбора. И пока она жива, она останется березой...



Илья Лавров, Владимир Сапожников, Александр Кухно

Семён ВЕНЦИМЕРОВ

## ГОЛОС, ЗВУЧАЩИЙ В ЭФИРЕ

*Главы из исторического исследования\**

*Феномен радио еще предстоит изучать историкам будущего. Почему ни кино, ни телевидение не смогли заглушить голос, звучащий в эфире? Позывные радиостанций по-прежнему волнуют нас, мы по-прежнему настраиваемся на любимую волну. Сегодня только в Новосибирске больше десятка радиостанций. У каждой свой формат и свой слушатель. И, возможно, сегодняшней аудитории, воспитанной на развлекательных программах, не будет понятна и близка специфика радиовещания прошлого века, а пафосность новостей вызовет снисходительную улыбку...*

*Но при всей официозности звучания радио всегда отличало чувство слова, грамотная русская речь, профессионализм, интерес к человеку, оперативность. Да, это была другая эпоха. Она диктовала свой стиль, у нее были свои герои и свои идеи. Но это история нашей страны, которую следует знать.*

*Сибирская широковещательная станция (так называлось Новосибирское радио в 20—30-х гг. прошлого века) стала первой на территории от Урала до Дальнего Востока. Сибирские крестьяне в массе своей были безграмотными. Радио стало для них простейшим, но эффективным средством просвещения. Жители медвежьих углов благодаря радио могли почувствовать свою причастность к новой жизни в стране.*

*И вот уже 90 лет радио Сибири остается для наших земляков одним из главных источников информации. Исследование по истории Новосибирского радио, с которым мы хотим познакомить читателей, основано на архивных документах, публикациях центральных и местных газет 20—30-х гг. и более поздних лет, специальных изданий — «Новости радио», «Говорит и показывает Москва», а также на воспоминаниях ветеранов радио.*

*Автор этой работы радиожурналист Семён Венцимеров — выпускник факультета журналистики Московского государственного университета — проработал на Новосибирском радио более 15 лет. Писать его историю он начал в конце 70-х, когда еще не было сколько-нибудь системных исследований на эту тему. Автор работал в архивах Москвы и Новосибирска, подготовил большой цикл передач об истории радио. В них участвовали люди, имевшие непосредственное отношение к становлению регионального радиовещания. К сожалению, фонотека местного радио не сохранилась и передачи эти утрачены. Но у автора остались машинописные тексты — более 350 страниц, на которых он детально проследил предысторию новосибирского радиовещания, его становление, работу коллектива радио в 30-х гг., в период Великой Отечественной войны, а также в послевоенное время вплоть до 1980 г.*

---

\* Публикация Тамары Венцимеровоной.

## На связи — военные радиобатальоны

История как наука, на взгляд обывателя, не бывает увлекательной. Но человек вдумчивый, с воображением, а главное, с желанием узнать что-то новое о своей стране никогда не пропустит «скучные» страницы истории. Надеюсь, и мой читатель сможет разглядеть за сухими строчками документального повествования весь масштаб, а подчас и драматизм того времени, когда зарождалось и внедрялось в жизнь великое изобретение человечества — радио.

...В октябре 1917 г. приемопередающие и приемные радиостанции на всей территории страны восточнее Урала исчислялись единицами. Наиболее быстрыми темпами радио внедрялось в армии. Первые радиотелеграфные установки в Сибири были также армейскими. В период Русско-японской войны для обеспечения связью действующей армии в Иркутске была создана рота искрового телеграфа (радиотелеграфа) — одна из первых радиочастей русской армии. В эту роту после окончания Петербургского военно-инженерного училища был назначен на службу М. А. Бонч-Бруевич, ставший впоследствии выдающимся ученым-радио-конструктором, внесшим значительный вклад в радиофикацию страны.

В 1909—1910 гг. Главное управление почт и телеграфов решило установить ряд радиостанций для связи с морскими судами, а также для того, чтобы включить в общую телеграфную сеть пункты, не имевшие проводной связи. Фирма «Сименс и Гальске» построила несколько небольших радиостанций в различных регионах страны, в том числе на Дальнем Востоке. Примерно в этот же период и военное ведомство установило мощные искровые радиостанции в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Харбине, Чите. Незадолго до Октябрьской революции несколько радиостанций было сооружено в приполярных пунктах Зауралья. Таким образом, и морзянка «Всем, всем, всем...» из радиорубки крейсера «Аврора», и обращение «К гражданам России», и первые декреты новой власти о мире и земле, несмотря на слабую технику радиосвязи, были приняты и в Сибири.

В начале 1918 г. Совнарком принял постановление о строительстве в стране девяноста (!) радиоприемных станций. Одну из них решено было возвести в Новониколаевске. С этой целью в марте 1918-го в город прибыла группа специалистов во главе с А. М. Пилановым. Большую заинтересованность в строительстве приемной радиостанции проявил первый секретарь городского Совета В. Р. Романов. Он помог подобрать помещение для радиостанции. Приемник установили в здании гостиницы «Центральная», антенну вывели из окна и закрепили на трубе локомотива городской электростанции. Пришлось наматывать дополнительную катушку, чтобы диапазоны приемника совпадали с диапазонами Ходынской радиостанции в Москве. Ведь надежная и оперативная связь с Москвой имела первостепенное значение.

10 апреля 1918 г. удалось наконец полностью отладить станцию. Она начала принимать радиogramмы РОСТА, декреты и постановления Совнаркома, военные сводки. Несколько раз удавалось услышать переговоры В. И. Ленина с партийными, советскими и военными деятелями республики. Каждое утро В. Р. Романов приходил на радио и забирал записи ночных передач. В конце апреля 1918 г. Пиланов рассказал Романову, что ночью слышал переговоры В. И. Ленина с Ташкентом — с комиссаром Туркестанского фронта П. А. Кобозевым. Разговор шел о высылке оружия.



В мае 1918 г. чехословацкий мятеж отрезал Сибирь от пролетарского центра. Примерно 11 июня была послана радиотелеграмма Совнаркома за подписью В. И. Ленина и В. Н. Подбельского: «Кто имеет связь с Ташкентом, просим передать в Ташкент. Правые социалисты-революционеры свергли Советы и свергли советскую власть... Телеграфная связь Сибири с Москвой прервана. Предлагается принять все меры, восстановить сообщение обходным путем, пользуясь одновременно телеграфом и радиотелеграфом».

Власть в Новониколаевске перешла к колчаковцам. При них Пиланов и второй радист Фицев, заподозренные в симпатиях к большевикам, были уволены. Радист Радкевич сумел втереться в доверие к белогвардейцам и остаться при радиостанции. Он продолжал принимать радиопередачи из Москвы и передавал полученные сведения в партизанский корпус И. В. Громова, где по материалам радиосообщений издавалась газета «Известия». Ее редактором был бывший учитель П. О. Никишин, ставший впоследствии собственным корреспондентом «Правды» по Куйбышевской области.

После изгнания колчаковцев из Новониколаевска Лука Гордеевич Радкевич вступил в Красную армию и в ее рядах участвовал в продолжавшемся освобождении Сибири от белых. Радиоприемная станция, таким образом, осталась без обслуживающего персонала. Об этом доложили В. К. Блюхеру. Выдающийся военачальник Красной армии понимал значение радио как средства получения оперативной информации и распорядился направить на радиостанцию всех радиотелеграфистов, которых удастся найти в частях. Это был приказ начальника гарнизона под номером 10, изданный 10 января 1920 г.

Так, на Новониколаевскую радиостанцию был откомандирован красноармеец-радиотелеграфист Яков Трошин. А ревком города Тайги направил в Новониколаевск радиотелеграфистов Владимира Дорофеева и Михаила Свищерского. Благодаря своевременно принятым мерам новониколаевский радиоприемник продолжал работать.

В 1919—1924 гг. было построено несколько радиостанций на севере Сибири — в Дудинке, Обдорске, Усть-Енисейске, в бухте Новый порт Обской губы, у пролива Маточкин Шар. Радиооснащенность Сибири возросла за счет дислоцировавшегося в Томске радиобатальона 5-й армии, освободившей Сибирь от белых и интервентов.

Один из старейших журналистов Сибири Н. Н. Лебедев, работавший с декабря 1921-го по июнь 1922 г. заместителем заведующего Томским губернским отделением РОСТА, рассказывал, что сотрудники ГубРОСТА принимали сообщения из Москвы по радио — с помощью красноармейцев и командиров томского радиобатальона.

С декабря 1922-го по май 1923 г. Н. Н. Лебедев был редактором уездной газеты «Работник» в Щегловске (ныне — Кемерово). И здесь он также использовал метод получения оперативной информации по радио. Радиоприемник был у рабочих Автономной индустриальной колонии, созданной неподалеку от Щегловска голландским коммунистом инженером Рутгерсом. Помещая полученные по радио сообщения, щегловский «Работник» опережал в подаче оперативной информации другие сибирские газеты на двое-трое суток.

В феврале 1921 г. на территории Западной Сибири вспыхнул кулацко-эсеровский мятеж, известный под названием Петропавловско-Ишимского.

Мятежники уничтожили тысячи коммунистов и советских работников, перерезали железнодорожное сообщение Сибири с центром, что грозило усилением голода в промышленных районах страны. Оказалась прерванной и телеграфно-телефонная связь Сибири с Москвой.

Около двух месяцев несли свою трудную радиовахту на Обском Севере моряки-балтийцы. За это время они приняли и вновь передали в эфир тысячи радиogramм, адресованных командованию Красной армии, органам ВЧК, руководителям партийных органов и местных Советов. Радиостанция была надежным звеном в системе управления операцией по ликвидации мятежа. В апреле 1921 г. на основной части Западной Сибири мятеж был подавлен. Отступавшие остатки банд мятежников предприняли марш на север, к Обдорску. Их целью, в частности, был захват радиостанции, работники которой в немалой степени помешали успеху восстания. Несколько сот партийных и советских работников Самарова, Березова, Обдорска и других населенных пунктов Тобольского Севера, объединившись в коммунистический отряд, удерживали Обдорск до 1 апреля. Они предприняли ряд попыток сообщить о своих боевых действиях по радио. Вот одна из таких радиотелеграмм: «18 марта 1921 г. коммунисты Тобольского Севера, истекая кровью, шлют пламенный прощальный привет непобедимой РКП, дорогим товарищам и нашему вождю В. И. Ленину. Погибая здесь, мы выполняем свой долг перед партией, республикой, с твердой верой в конечное наше торжество. Секретарь райкома РКП Протасов».

Передав последнюю радиogramму, моряки разобрали радиостанцию и увезли ее в тундру, в руки врагов она не попала.

2 июня 1921 г. отряд чекистов и красноармейцев под командованием А. Н. Баткунова освободил Обдорск. Выполняя приказ уполномоченного ВЧК по Сибири И. П. Павлуновского, Баткунов разыскал в тундре И. М. Волкова и других радистов. Красноармейцы помогли восстановить радиостанцию. Вскоре ее голос вновь был слышен в эфире.

### От Москвы до самых до окраин

21 августа 1922 г. начала первые речевые широковещательные передачи Центральная радиотелефонная станция в Москве. В этом же году вступила в строй действующих Новониколаевская приемопередающая радиостанция Наркомпочтеля. Она осуществляла двухстороннюю связь с Москвой, Читой, Челябинском, Ташкентом, Тверью. В приказе заведующего радиостанцией А. М. Зоткевича, изданном в 1921 г., было составлено расписание работы станции на связи с каждым из этих городов. Особой графой было выделено: 2 часа для приема и передачи сообщений РОСТА. В 1922 г. заврадио А. М. Зоткевичу пришлось заполнить ряд анкет, касающихся деятельности станции. В одной из них, отвечая на вопрос «Куда доставляются радиотелеграммы, в каком количестве, в каком виде?», он писал: «В СибРОСТА, написанными от руки, 1 экз., тотчас после приема».

Важно отметить роль заведующего Новониколаевской радиостанцией А. М. Зоткевича. В октябрьские дни 1917 г. он был радиотелеграфистом на крейсере «Аврора». Посланный затем в Сибирь на ответственный пост заведующего крупной по тем временам радиостанции, он был вооружен не только

техническими знаниями радиоспециалиста, но и убежденностью в важности использования радио для пропаганды и агитации.

26 мая 1922 г. А. М. Зоткевич издал весьма интересный по содержанию приказ. В нем сообщалось, что 27 и 29 мая Нижегородская радиолaborатория будет передавать опытные концерты. Дежурным радистам предлагалось слушать эти концерты и дать оценку качества передач. О результатах наблюдений позже сообщили в Нижний Новгород ученым радиолaborатории.

Несколько позже, чем в Новониколаевске, начали работать аналогичные радиостанции связи в Барнауле, Красноярске и других крупных городах Сибири, что стало важной предпосылкой создания сибирского ширококовещания и развития радиоприемной сети в регионе.

Сибирские радиостанции передавали важные сообщения из центра — декреты и постановления правительства, материалы РОСТА. На каждой сибирской радиостанции формировался коллектив радиоспециалистов — инженеров, техников, рабочих. Большинство сибирских радистов, помимо служебных передач, в свободное время слушали ширококовещательные передачи из Москвы — доклады, лекции, радиогазеты, концерты. Эти передачи привлекали внимание, вызывали живой интерес. Многие радиоспециалисты, желающие слушать ширококовещательные передачи не только на службе, но и дома, сооружали из доступных материалов радиоприемники, обучали этому делу друзей, соседей, закладывая основу будущего массового радиолубительства.

Важным результатом начала работы Центральной радиотелефонной станции стал широкий общественный интерес к радио, к тем возможностям, которые предоставляли ширококовещательные радиостанции. Своеобразным выражением этого интереса стала публикация в журнале «Сибирские огни» статьи одного из пионеров радиодола в нашей стране Н. Дождикова. С большой увлеченностью и знанием дела автор говорит о перспективах радиовещания:

Недалеко то время, когда каждый, находясь в своей квартире или каком-нибудь общественном пункте, будет слушать и видеть целые оперы не только из России, но и из-за границы, будет переговариваться со своими друзьями, находящимися в других городах или путешествующими по суше и на море. Каждый город и село будет в общем пульсе мировой жизни. Вот фантастическая картина теперь и действительность в отдаленном будущем.

Да, такая картина тогда казалась фантастической, а ее воплощение представлялось возможным лишь в отдаленном будущем. Это следовало, в частности, из той же статьи Н. Дождикова, где говорилось о невозможности начать в Сибири широкое строительство радиовещательных станций в силу бедности экономики страны. Однако радиостроительство было объявлено одной из важнейших государственных задач. И 25 декабря 1924 г. на пленуме Сибревкома рассматривался вопрос о радиостроительстве в крае. Проект создания первой в Сибири радиотелефонной ширококовещательной сети предусматривал постройку пяти радиостанций: в Новониколаевске, Омске, Барнауле, Томске и Красноярске. Проектная стоимость пяти станций оценивалась в 260 тысяч рублей.



## Общество друзей радио

К 1925 г. в Новониколаевске, Омске, Томске, Барнауле и других крупных городах Сибири сотням людей уже удалось послушать передачи московского радио, которые к этому времени стали регулярными. Общественные прослушивания московских радиопередач устраивались для сибиряков ячейками Общества друзей радио с помощью довольно мощных и совершенных для того времени радиоприемников. Энтузиасты радио на свои деньги покупали приборы, детали и материалы, сами конструировали недостающие части и собирали радиоприемники, сначала простейшие, детекторные, а затем ламповые, все более и более сложные. В ячейках Общества друзей радио делали свои первые шаги многие признанные впоследствии радиоконструкторы и инженеры.

Общество друзей радио в середине 20-х гг. сыграло важную роль в повышении технического кругозора населения, его ячейки стали своеобразными очагами культуры и просвещения, где можно было послушать информационную радиогазету, доклад или концерт, передаваемые московскими радиостанциями.

22 февраля 1925 г. состоялось учредительное собрание Общества друзей радио в Новониколаевске. Помощник начальника Сибирского округа связи А. Нелюбин говорил о значении радиолюбительства так: «Новониколаевский радиоприемник — это маленький огонек, который вспыхнет маяком для всей Сибири!», имея в виду первый приемник новосибирских радиолюбителей, установленный незадолго до этого в помещении Андреевской школы. Проведенные в феврале первые опыты приема радиопередач из Москвы на «головной телефон» (наушники) дали положительные результаты.

В августе 1926 г. по всей Сибири было зарегистрировано 4144 радиолюбителя. Новониколаевское отделение ОДР вскоре стало головной организацией общества в крае. Президиум краевого совета общества через газету сообщал о запланированных программами московских радиостанций имени Коминтерна и МГСПС концертах, лекциях, докладах и приглашал на их прослушивание всех желающих. Вход был свободным. Это было немаловажное обстоятельство. Оно как бы подчеркивало внутренне присущие радио качества: массовость, доступность, демократизм и способствовало росту его популярности у новониколаевцев.

Скоро помещение, где стоял приемник, перестало вмещать всех желающих. Было решено перенести радиоприемную станцию в помещение Коммунистического клуба, расположенного в доме № 2 по улице Советской. Здесь Обществу друзей радио была предоставлена отдельная комната.

Своей задачей общество считало строительство ряда мощных коллективных радиоприемников, способных обеспечивать уверенный прием от московских радиостанций. Один из таких новых приемников был установлен в помещении округа связи в доме № 76 по улице Горького. Для улучшения приема антенну подняли на высокую мачту. Здесь же была организована выставка радиоприборов.

В конце февраля — начале марта 1925 г. в Новониколаевске проходил Первый сибирский рабселькоровский съезд. Его участники, в большинстве своем крестьяне из отдаленных сибирских деревень, попросили организаторов съезда показать им радиоприемники. Для делегатов съезда была организована экскур-

сия в ячейку Общества друзей радио. 3 марта газета «Советская Сибирь» рассказала об этом в небольшом репортаже.

В конце сентября — начале октября 1925 г. начал работать первый в сибирском селе радиоприемник. Он был установлен в Орловском сельсовете Славгородского округа. В июле 1926 г. установили приемник в клубе села Бугры Новосибирского округа. Антенну подняли на мачту высотой 26 аршин, а второй ее конец закрепили на куполе церкви. Летом этого года Первая Сибирская ширококвещательная станция начала пробные передачи, и радиофикация сибирской деревни пошла более быстрыми темпами. К началу регулярного вещания в сельсоветах и сельских клубах было установлено уже около тридцати радиоприемников, предназначенных для коллективного прослушивания передач.

В 1925 г. слово «радио» было уже на устах у всех сибиряков. В сибирской рабочей семье, в каждом крестьянском доме, в клубах, избах-читальнях и солдатских казармах — повсюду с надеждой говорили о радио. С надеждой, потому что ходили упорные слухи: скоро в Новониколаевске начнется строительство своей, сибирской радиостанции. И слухи эти имели под собой почву. Зимой побывал в Новониколаевске известный советский радиоспециалист профессор В. П. Вологдин, соратник и друг М. А. Бонч-Бруевича, вместе с ним основавший нижегородскую радиолaborаторию. В. П. Вологдин был командирован обществом «Радиопередача» на Урал и в Сибирь в связи с планируемым в этих районах строительством ряда радиостанций. Согласно его заключению, в Новониколаевске представлялось возможным создать радиовещательный центр, несколько реконструировав существующую здесь радиостанцию Наркомпочтеля.

Сибревком заключил договор с акционерным обществом «Радиопередача» и выкупил у общества радиопередатчик, уже изготовленный для установки в Свердловске (уральцы не нашли средств, чтобы возместить расходы по его изготовлению). Таким образом, радиопередатчик был отправлен в Сибирь.

Радиостанция Наркомпочтеля находилась на окраине города в Закаменском (ныне Октябрьском) районе. В одном из помещений станции выделили место для вещательного передатчика. А вещательную студию в комплексе с помещениями для творческих работников было решено разместить в центре — в Доме Ленина.

В середине июня 1926 г. основные работы по сборке и монтажу передатчика были закончены. Начались его испытания под электрическим током. 9 июля радиолюбители впервые услышали голос ширококвещательной. Началась серия пробных передач.

Одновременно с решением чисто технических задач разрабатывались и вещательные планы радиостанции. Решено было выпускать радиогазету. Ее редколлегия, которая была сформирована на базе редакции газеты «Сельская правда», наметила основные отделы радиогазеты: передовая, последние новости, руководящие статьи. Особо были выделены отделы музыки и техники, объявлений, художественный отдел (литературно-музыкальный). Было решено выпускать еженедельно по два номера радиогазеты продолжительностью 50—60 минут.

В августе коллектив провел опыт вещания через громкоговоритель на городскую площадь. На фронто́не Дома Ленина было установлено три мощных

громкоговорителя. Собравшиеся на площади внимательно и с интересом слушали передачу, дивясь той громкости, с которой звучала на площади человеческая речь.

Так завершился этап предыстории Новосибирского радио.

## Слушайте все — говорит Новосибирск!

Сегодня сокращаются тысячеверстные расстояния Сибири. Сегодня открывается первая в нашем крае ширококвещательная станция. По радиотелефону — ежедневно: новости заграницы, СССР, Сибкрая. Началась передача популярных докладов, лекций, концертов. Подготовлена передача целых заседаний, лекций и концертов не только из радиостанции, но и из большого и малого залов Дома Ленина. Почти закончена подготовка передач целых концертов и опер из Сибгостеатра. На Доме Ленина установлены мощные громкоговорители, которые передают доклады, лекции и концерты на площади... Относительными стали сибирские расстояния, приблизились к центру медвежьей уголки. Агроном начинает говорить с крестьянином, врач с больным, профессор с неграмотным.

Сегодня начала в Сибири существовать газета без бумаги и расстояний.

Такую заметку «Советская Сибирь» опубликовала 5 сентября 1926 г., сообщая о начале регулярных радиопередач из Новосибирска.

Этот день принято считать днем рождения Первой Сибирской ширококвещательной станции — Новосибирского радио.

Хотя, если быть абсолютно точным, пробные передачи начались еще в августе. В один из последних дней лета радиолюбители (а их в Сибири только официально зарегистрированных — то есть членов Общества друзей радио — было к тому времени более семи тысяч), настроившись на волну 1117 метров, услышали в своих наушниках: «Алло! Алло! Слушайте! Говорит Новосибирск! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и зазвучала мелодия «Интернационала».

К началу регулярной работы Первой Сибирской ширококвещательной в крае было установлено более двухсот коллективных и индивидуальных приемников. Через год их число удвоилось, а к лету 1928 г. в Сибири было уже почти пять тысяч радиоприемников.

Для ускорения радиофикации края использовались различные радиопередвижки, установленные на автомобилях, поездах, пароходах. Летом 1927 г. пароход «Алтай», оборудованный радиоустановкой, совершил рейс по Оби. На стоянках в радиорубку приглашались местные жители для коллективного прослушивания радиопередач. Ошеломляющее впечатление «говорящий» ящик произвел на северян-остяков, населявших Нарымский округ.

Новосибирский округ, как более близкий к центру, был радиофицирован лучше других. Здесь к началу регулярного вещания Первой Сибирской ширококвещательной станции действовало 30 коллективных радиоустановок. Позже, в 1929 г., опыт радиофикации района и участие в этой работе комсомольцев и молодежи был одобрен ЦК ВЛКСМ.

В газете «Сельская правда» от 26 декабря 1926 г. была опубликована заметка о том, как в одной из сибирских деревень собирали деньги на радиоприемник:

Наш учитель тов. Самарович и секретарь ячейки ВКП(б) тов. Андреев не зря в продолжение нескольких месяцев о чем-то таинственно шушукались, что-то писали, подсчитывали, ходили по селу, задрав головы.

Ходили слухи, что хлопочут люди о каких-то деньгах, а для чего — неизвестно. Учитель Самарович — сам из бедна бедных — зачем-то поехал в город. Секретарь ячейки продолжал свои неизвестные подсчеты.

Секрет обоих работников открылся, когда учитель вернулся обратно и привез из города взятый им в кредит маленький радиоприемник.

С того дня, когда Первая Сибирская широковещательная станция начала свои передачи, ежедневно к 8 часам вечера помещения клубов, красных уголков, изб-читален, где имелись радиоприемники, были заполнены до отказа. Ежевечерне тысячи людей слушали передачи Новосибирского радио с помощью громкоговорителей, установленных на ДOME Ленина, в городском саду «Свобода» и других местах. В начале 1927 г. громкоговорители были установлены также на улицах Железнодорожного, Ипподромского, Закаменского и Фабричного районов Новосибирска. Всего в городе к тому времени было 35 громкоговорителей. Так что аудитория у Новосибирского радио была достаточно велика.

Воздействие радио на жизнь сибиряков было колоссальным. Никогда больше не имело Новосибирское радио таких внимательных и благодарных слушателей, как в те первые дни.

Сердцем Первой Сибирской широковещательной стал Дом Ленина. Студия, из которой велись передачи, находилась на четвертом этаже. Она состояла из двух разделенных звуконепроницаемой перегородкой помещений — аппаратного и вещательного. В вещательной комнате стены были обиты мягкой драпировочной тканью. Здесь стоял дикторский стол, над ним был подвешен большой угольный микрофон. Для музыкального оформления в студии был установлен граммофон с большим ратрубом и рояль.

Кстати, когда в 1925 г. только начиналось строительство Дома Ленина, предполагалось, что в здании будет установлен особый сверхмощный кинопроектор, с помощью которого можно на специальный огромный экран или даже на облака проецировать световую газету. И новости световой газеты мог бы читать весь Новосибирск. Этот фантастический проект не был осуществлен. Зато новости, которые зазвучали из радиостудии, услышала вся Сибирь!

Передачи Первой Сибирской широковещательной звучали в эфире в этот период шесть раз в неделю (ежедневно, кроме вторника) на волне 1117 м. Это были сначала лишь новости, статьи, фельетоны, то есть, по существу, чисто газетные жанры, читаемые по радио, а также беседы, доклады и лекции, в которых специфика радиовещания — звучание живых голосов людей, рассказы-вающих об известных проблемах, — уже проявлялась. Коллектив Сибирской широковещательной вводил новые приемы и элементы передач, которые приближали содержание и форму вещания к нашим нынешним представлениям о радиожурналистике.

Вскоре — всего через полтора месяца после начала вещания — была проведена первая опытная трансляция спектакля Сибгостеатра. Передавался четвертый акт оперы «Кармен».

В ноябре местные газеты эпизодически начали печатать программы передач сибирской радиостанции. Постепенно вещание становилось все более упо-

рядоченным. Были введены постоянные рубрики, начался выпуск радиогазеты, детских и молодежных передач. Для чтения лекций стали приглашаться ведущие научные силы. Но все приходилось делать на ощупь. Не было ни методики, ни специальной литературы. Случалось, что лекторы отказывались выступать перед аудиторией, которой не видно. Были и другие трудности, например, связанные с трансляцией концертов гастролировавших в Новосибирске артистов. Сегодняшние певцы, чтецы и музыканты считают, что им оказали честь, пригласив выступить по радио. А в конце 20-х гг. некоторые артисты отказывались выступать по радио, считая, что это приведет к сокращению числа посетителей их концертов и, соответственно, уменьшению суммы гонорара. Было даже принято специальное постановление ЦИК и Совнаркома СССР, направленное на борьбу с этими фактами, «позорящими звание советского артиста».

Едва начав регулярное вещание, радио с большой активностью включилось в общественную жизнь Сибири. В его программах широко освещался проходивший в конце 1926 г. научно-исследовательский съезд, посвященный проблемам экономического развития края. В воскресенье 19 декабря 1926 г. перед радиослушателями с беседами о производительных силах и полезных ископаемых Сибири выступили профессора Вайнберг и Усов. В одной из следующих передач профессор Лебедев проанализировал перспективы развития сахарной промышленности в Сибири. Была передана также лекция профессора Бахрушина по истории Сибири.

### **«Товарищ Радион» — свой для рабочих и крестьян**

Чтобы усилить воздействие на различные категории слушателей, прежде всего на крестьян, с середины января 1927 г. наряду с радиогазетой общего содержания стали выходить в эфир рабочая и крестьянская радиогазеты.

Вот программы нескольких вещательных дней 1927 года.

1 января 1927 г. в 7 часов вечера в эфире прозвучала рабочая радиогазета. Передавалась беседа о браке, семье и опеке, затем — доклад о седьмой годовщине Сибирской организации ВЛКСМ.

2 января в 5 часов вечера в эфире прозвучала детская радиогазета «Юный ленинец», затем концерт детского хора. В 7 часов вечера радио транслировало предвыборный митинг, на котором выступил председатель Сибкрайисполкома Р. И. Эйхе, после которого передавался концерт.

14 декабря 1927 г. до 8 вечера звучала рабочая радиогазета.

15 декабря в это же время — радиогазета для крестьянской молодежи.

16 декабря с 7 до 8 вечера — военная радиогазета, затем — сельскохозяйственная беседа, а в 9 вечера начался урок эсперанто и азбуки Морзе.

10 января 1927 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О руководстве радиовещанием». Выполняя это постановление, крайком ВКП(б) создал при отделе агитации и пропаганды радиосовет. Его возглавил работник крайкома партии И. Новохатный. Радиосовет взял под идеологический контроль всю деятельность Сибирской широковещательной и рекомендовал расширить связи радио со слушателями.

Для укрепления связи с жителями деревни в крестьянской радиогазете был введен раздел вопросов и ответов. И теперь деревенские жители точно знали,

что на все их вопросы «товарищ Радион» (а именно так называли радио в деревнях) ответит обязательно.

Обращение в передачах к проблемам конкретных людей повысило эффективность вещания Новосибирского радио, о чем свидетельствовал возросший поток писем из глубинки.

Зимой 1927—1928 гг. тематика передач стала еще более обширной. Были введены дополнительно две беседы по вопросам внешней и внутренней политики. Две новые еженедельные передачи (беседы) были посвящены вопросам производственным и профессиональным, причем одна из них была адресована рабочим и служащим, занятым в сфере обслуживания деревни. Были введены три новые еженедельные беседы, предназначенные непосредственно для сельских слушателей. Они были посвящены вопросам агрономии, землеустройства, земельного права, лесного хозяйства, животноводства. В частности, радио немало способствовало развитию кролиководства в Сибири. После одной из передач крестьяне четырех деревень организовали кооператив по разведению кроликов. Многие из этих бесед ориентировали слушателей на развитие крестьянской кооперации. Так радио создавало материальные и идеологические предпосылки для создания колхозов. Задача на первых порах, не говоря уж о большем, заключалась в том, чтобы убедить крестьян, что «товарищ Радион» не порождение нечистой силы, а творение ума и рук человека.

В декабре 1927 г. первый крестьянин осмелился заглянуть на широковещательную. Второго января 1928 г. пришел в студию крестьянин Небогатиков из деревни Панфилово Кузнецкого округа. «У нас в деревне, — пояснил он, — до сих пор не верят в радио. Крестьяне говорят, что это обман». Поговорить Небогатикову с односельчанами разрешили. И это был не единственный случай, когда крестьяне получали возможность побывать на радио и обратиться к землякам. Содержание их выступлений порой было подобно вот этому: «Передайте моему дяде, чтоб пригнал за мной лошадей и захватил тулуп».

Нередко «выступления» крестьян организовывали сами сотрудники радио. Как рассказывала М. А. Тиунова, первая в Сибири женщина-диктор, ставшая впоследствии диктором Всесоюзного радио, поступали обычно так: шли на рынок, благо это было недалеко (на месте нынешнего театра оперы и балета), и уговаривали двух-трех крестьян из разных районов посетить студию и поговорить с земляками.

Около 400 посетителей из деревни побывало на радио с декабря 1927-го по март 1928 г. По их рассказам был сделан примерный подсчет числа радиослушателей. Оказалось, что ориентировочно радио слушало около ста тысяч сибирских крестьян.

Вещание сибирской радиостанции отличалось одной интересной особенностью. Здесь нашли простой, но достаточно эффективный способ доводить содержание каждой конкретной передачи именно до той аудитории, которой она была адресована. Для этого все дни вещания были разделены между отдельными группами слушателей. Так, среда была днем вещания для рабочей аудитории, четверг — крестьянской молодежи, пятница — для красноармейцев, воскресенье — для крестьян. Суббота была днем популяризации опер, понедельник — также день пропаганды музыки.

Для максимального охвата всех слоев населения края были организованы передачи на языках национальных меньшинств и этнических групп, живущих в Сибири: татарском, немецком, латышском, эстонском и других.

Многочисленные письма, поступавшие ежедневно в адрес радиостанции, свидетельствовали о большом интересе слушателей к «товарищу Радиону». За первый год работы на радио пришло 835 писем.

«Сообщаем, что ваша радиопередача нам очень понравилась. Наша просьба к вам, чтобы вы почаще освещали вопросы промышленности. Если представится возможность, сообщите, как провести кружковую работу» (Телегин Г., Черногорские копи Хакасского округа).

«Очень мало в программе радиопередач научных лекций и докладов, в особенности по технике, по строительному искусству. По механике совсем нет, а нужно бы. Ведь большой процент из числа слушателей — радиотехники» (Баканов, Барнаул).

«Санпросветбеседы больше бабы слушают. Только пусть учат нас, как жить сейчас, а не при социалистическом рае».

«Беседы комсомола правильные, когда говорят, что нехорошо озоровать с девушками».

В начале 1927 г. стало возможным передавать по радио хоровые, оркестровые и оперные спектакли с хорошим качеством приема. В начале февраля 1928-го широковещательная провела трансляции фрагментов опер «Руслан и Людмила» и «Мазепа» из Сибгостеатра. Для таких передач в театре была оборудована специальная трансляционная студия. В дальнейшем оперные спектакли из театра транслировались регулярно. В антрактах специалисты-музыковеды рассказывали содержание последующих актов, подробно характеризовали музыкальное содержание. Все эти пояснения были рассчитаны на массовую аудиторию и носили популярный характер.

В этот период объем музыкального вещания составлял 50 % всех передач Сибирской широковещательной. Однако общий уровень его был довольно невысок. Это объяснялось скудостью артистических сил в Новосибирске. На радио начали формировать собственный золотой фонд творческих работников. Самодеятельный оркестр русских народных инструментов, организаторами которого были музыканты В. Гирман и П. Панфилов, стал впоследствии профессиональным коллективом высокого класса.

### **Их узнавали по голосам**

Огромную популярность и любовь слушателей завоевали дикторы Новосибирского радио. По существу, они стали почти что членами семей всех, кто их слушал и узнавал по голосам. Мария Алексеевна Тиунова работала на Новосибирском радио до 1933 г. По образованию она была актрисой, училась в Омске. Когда она впервые появилась в Доме Ленина, у нее не было даже представления о новой профессии. Достигнуть в ней мастерства помог Тиуновой первый диктор Сибирской широковещательной Василий Васильевич Васильев. По ее словам, это был очень эрудированный человек, обладавший приятным голосом и четкой дикцией и горячо влюбленный в свою работу.

Впрочем, ему приходилось быть не только диктором, но и режиссером литературных передач. В ноябре 1928 г. при его активном участии была подготовлена и передана в эфир литературно-музыкальная композиция памяти Николая Гавриловича Чернышевского.

Такое совмещение профессий было тогда обычным явлением. Диктору Александру Евгеньевичу Замятину-Белокашникову приходилось выступать перед микрофоном с исполнением вокальных номеров, а уполномоченная по радиовещанию (т. е. начальник радиостудии) Роза Иосифовна Кронгауз принимала участие в музыкальном оформлении передач. Она была выпускницей Московской консерватории.

Дикторы пользовались большой популярностью у слушателей. Профессия эта считалась почетной, престижной. Много было желающих работать дикторами. Когда в конце 20-х гг. был объявлен конкурс, на него поступило около четырехсот заявлений. Но никто из претендентов на должность дикторов не отвечал требованиям радио.

В 1927 г. пришел на Новосибирское радио и долгие годы трудился талантливым музыкант, незрячий баянист-самородок Иван Иванович Маланин. Музыкальные передачи с его участием имели неизменный успех у слушателей. Он принял участие в оформлении сотен передач Новосибирского радио.

В 1929 г. был принят диктором на радио Владимир Степанович Макаров. По совместительству ему пришлось быть и редактором литературных передач.

Если оценивать вещание Сибирской ширококвещательной в двадцатые годы с точки зрения современных представлений, многое может вызвать улыбку. Иногда запланированные на 20—30 минут передачи во время трансляции по различным техническим причинам, из-за несогласованности, недисциплинированности отдельных участников растягивались на два часа. Время передач не всегда строго соблюдалось. Забавный эпизод, связанный с этим, вспоминал старейший сибирский журналист Н. Н. Лебедев. В конце двадцатых годов Николай Николаевич находился на партийной работе и по роду своих обязанностей был хорошо осведомлен обо всех аспектах деятельности Первой Сибирской ширококвещательной станции. Ему нередко приходилось бывать в Доме Ленина. Однажды Николай Николаевич пришел в студию в тот момент, когда по расписанию станция должна была передавать точное время. Здесь все были в замешательстве: остановились студийные часы, а у работников радио часов не было. У Николая Николаевича часы были. И диктор В. В. Васильев объявил «точное время» по часам Н. Н. Лебедева.

На 1 июля 1928 г. в Сибири насчитывалось около пяти тысяч радиоприемников и 555 приводных установок (радиоточек). К этому времени были уже утренние и дневные программы: «Крестьянский утренник», «Рабочий полдень» и другие. Станция начала вести цикл передач, адресованных сельской интеллигенции.

В июле 1928 г. состоялась первая трансляция радиоспектакля по Новосибирскому радио. Артисты Новосибирского театра рабочей молодежи сыграли в студии революционную пьесу «Амба». Она была тепло принята слушателями, которые просили впредь чаще передавать трансляции спектаклей. Вскоре удалось наладить регулярную еженедельную трансляцию театральных постановок.



Многие артисты привлекались для чтения юмористических рассказов, стихов, отрывков из повестей и романов, участвовали в литературно-музыкальных композициях.

Из наиболее интересных форм вещания, которые в 1929 г. вслед за Всесоюзным радио начали применять дикторы Сибирской ширококвещательной, нужно выделить радиомитинги и радиопереклички.

Сибирская станция транслировала для своих слушателей радиопереклички коллективов соревнующихся предприятий, организованные радиостанциями Москвы и Ленинграда, и в свою очередь также организовала ряд перекличек сибирских заводов и фабрик, шахт и строек. Так, весной 1929 г. состоялась перекличка железнодорожников Томской и Красноярской магистралей. Участники радиопереклички взяли обязательство привести свои предприятия в культурный вид, наладить предупредительный ремонт паровозов, развернуть профессионально-техническую учебу и т. д.

В 1929 г. Новосибирское радио впервые вынесло свои микрофоны на улицу, чтобы рассказать десяткам тысяч людей о массовых демонстрациях трудящихся столицы Сибири в дни революционных праздников. Так получил начало на Сибирской ширококвещательной один из любимейших слушателями жанров — радиорепортаж.

*(Окончание следует.)*



---

Игорь МИНОВ

## АНДРЕЙ КРЯЧКОВ, СИБИРСКИЙ ЗОДЧИЙ

В ноябре 2016 г. исполняется 140 лет со дня рождения А. Д. Крячкова — архитектора, ученого, педагога.

К сожалению, мы не всегда умеем хранить память о людях, столь много сделавших для нашей малой родины. Есть в Новосибирске улицы, названные в память политических деятелей, слабо связанных с историей города, однако до сих пор нет улицы, носящей имя А. Д. Крячкова, да и фамилия эта известна в основном узкому кругу специалистов — архитекторов и краеведов. В последнее время ситуация стала меняться к лучшему. Появилась мемориальная доска на здании архитектурной академии (построенном самим зодчим), в сквере перед его известнейшим творением — Стоквартирным домом работников крайисполкома — поставлен памятник архитектору.

Биография А. Д. Крячкова известна нам в основном по книге историка архитектуры профессора С. Н. Баландина «Сибирский архитектор А. Д. Крячков», выпущенной Новосибирским книжным издательством в 1991 г. в серии «Земляки». Вместе с тем изыскания, проведенные сотрудниками Музея города Новосибирска, документальные материалы, предоставленные исследователем жизни и творчества Крячкова кинорежиссером А. Л. Пешковым, позволяют пролить свет на некоторые доселе малоизвестные страницы жизни нашего замечательного земляка. Стоит попутно заметить, что сейчас Андрей Пешков работает над фильмом о выдающемся сибирском зодчем.

Андрей Дмитриевич Крячков родился 24 ноября 1876 г. в деревне Вахарево Ростовского уезда Ярославской губернии в семье крестьянина Дмитрия Иосифовича Крячкова. В шесть лет лишившись отца, он рано начал трудиться и с юношеского возраста полагался только на свои силы.

В 1888 г. Андрей окончил трехклассную школу в селе Ильинском, и родные отправили его на табачную фабрику в Выборг, под надзор дяди его матери, где мальчик работал в конторе фабрики и при этом учился на вечерних курсах. А в августе 1890 г. он поступил в реальное училище и стал, как многие гимназисты и реалисты того времени, зарабатывать на жизнь уроками.



Профессор  
Андрей Дмитриевич  
Крячков

Окончив 24 мая 1896 г. «полный курс по основному отделению», А. Д. Крячков год спустя успешно выдержал конкурсный экзамен в Петербургский институт гражданских инженеров — одно из лучших высших учебных заведений в России. В его аттестате, где в то время указывалось и сословие («данном сыну крестьянина»), можно видеть весь реестр оценок: 3 — по французскому языку и арифметике, по алгебре и геометрии — 4, за черчение, рисование, историю и географию он имеет 5...

В годы учебы А. Крячкова в институте гражданских инженеров в нем преподавали академики В. А. Шретер, В. А. Пруссаков, И. С. Китнер, А. Л. Гун, а также инженер Н. А. Белелюбский — автор проекта железнодорожного моста через р. Обь, положившего начало Новониколаевску-Новосибирску.

В 1882 г. в институте уже была библиотека в 5870 томов сочинений русских и иностранных авторов и 212 подлинных рисунков и чертежей известных русских зодчих.

В годы пребывания в институте во время практики и летних каникул А. Д. Крячков много работал и ездил по стране. В 1898 г. он побывал на черноморском побережье, где ознакомился со строительными работами в Ялте, Одессе, Севастополе, Новороссийске. В 1899 г. работал в Петербургской городской управе десятником строительной компании «Новый Петербург», потом на Самаро-Златоустовской железной дороге (с которой, кстати, связано начало трудовой биографии еще одного из отцов-основателей города на Оби — инженера-путейца и писателя Н. Г. Гарина-Михайловского). Одновременно с учебой в институте Крячков работает чертежником, а затем техником-проектировщиком в фирме «Вайси и Фрейтаг», которая широко использовала в строительстве железобетонные конструкции (патенты Монье), что было делом относительно новым для России. Много лет спустя, в 1914 г., этот опыт пригодится архитектору при проектировании и строительстве здания филиала Богородско-Глуховской мануфактуры (ныне Главпочтамт), когда впервые в Новониколаевске была применена железобетонная стоечно-балочная система.

Последние три года учебы в институте он, как успевающий студент, получал казенную стипендию и поэтому по окончании его должен был прослужить в течение трех лет в одном из строительных отделений какого-либо губернского управления. Из 69 предложенных вакансий А. Д. Крячков выбрал место в Томске. Как считает С. Н. Баландин, это было связано в первую очередь с тем, что А. Д. Крячкова рекомендовали преподавателем строительного черчения и рисования во вновь созданный Томский технологический институт.

Осенью 1902 г. А. Д. Крячков начинает свою деятельность в Томске в должности младшего инженера строительного отделения Томского губернского управления, а следующим летом совет технологического института избирает его штатным преподавателем по архитектурному проектированию и рисованию.



**А. Д. Крячков  
в студенческие годы.  
Конец 1890-х гг.**



Через три года он становится архитектором института, проектирование и строительство зданий которого А. Д. Крячков вел вплоть до 1914 г.

Своим чередом идет и карьерный рост молодого чиновника: от коллежского секретаря (1902) до надворного советника (1916). С. Н. Баландин упоминает и о награждении Крячкова орденами: Св. Станислава III степени (1909) и Св. Станислава II степени (1916). Проведенное нами изучение послужного формуляра А. Д. Крячкова позволило выявить еще одну награду, полученную им в 1912 г., — орден Св. Анны III степени. Следует отметить, что высокий гражданский чин и наличие орденов давали архитектору право на получение личного дворянства.

В 1907 г. в личной жизни А. Д. Крячкова произошло знаменательное событие: он обвенчался с Любовью Владимировной Карпинской, представительницей известного рода горных инженеров и геологов, работавших на Урале, а затем и в Сибири. В 1908 г. в семье родился сын Всеволод, в 1909-м — сын Андрей, в 1911 г. — дочь Татьяна. Все они стали инженерами-строителями, но судьбы их сложились по-разному.

В первые годы XX в. Крячков, как и его томские коллеги, много работает по частным заказам в городах Сибири, в том числе — в молодом Новониколаевске.

Застройка города в первое десятилетие была преимущественно деревенской, одноэтажной и отличалась обывательской примитивной архитектурой. А. Д. Крячков впоследствии вспоминал:

Несмотря на значительное по сравнению с другими сибирскими городами строительство, в Новониколаевске не было в то время не только архитектора, но даже техника-строителя. Проектировали сооружения землемеры, техники путей сообщения, агрономы... Городом управляли некультурные люди из купцов, мещан и дельцов-спекулянтов, которым архитектура была далека и казалась ненужной и дорогой затеей...

Первым проектом для Новониколаевска стало здание общественного собрания, которое по ряду причин так и не было построено. Не сохранился даже его проект.



Городской торговый корпус. Вид с Николаевского проспекта.  
Первая половина 1910-х гг.



**Базарная площадь Новониколаевска. 1910-е гг.**

В 1908 г. уже как архитектор Западно-Сибирского учебного округа Андрей Дмитриевич получил от Новониколаевского городского управления заказ на составление проекта и постройку реального училища, которое в 1912 г. стало крупнейшим зданием на Николаевском проспекте.

После большого пожара 11 мая 1909 г., ставшего общегородской катастрофой, Новониколаевск испытывал острую нужду в строительных материалах. Учитывая это, А. Д. Крячков проектирует и строит в сотрудничестве с инженером М. Н. Кошурниковым в том же году механизированный кирпичный завод с круговой гофманской печью. Этот завод производил миллионы штук кирпича и действовал в городе более 50 лет.



**Александровская школа. Вид с ул. Вознесенской.  
Середина 1910-х гг.**



**Здание Богородско-Глуховской мануфактуры (Главпочтамт). 1916 г.**

24 мая 1910 г. городская управа в лице городского головы В. И. Жернакова заключила с А. Д. Крячковым договор, в котором он принимал на себя «общее заведывание техническим надзором, составление планов и смет для постройки Новониколаевским управлением в городе Новониколаевске каменных зданий — базарного корпуса и тринадцати городских школ...» В рекордные сроки — за два строительных сезона 1911—1912 гг. — было выстроено 12 двухэтажных школьных зданий в Центральной, Вокзальной и Закаменской частях города. Большинство из них признаны памятниками архитектуры и в разном качестве до сих пор служат горожанам.

Одновременно со школами в центре Ярмарочной площади был выстроен Городской торговый корпус, являющийся сегодня одним из символов Новосибирска.

Всего в период с 1908 по 1916 г. в Новониколаевске по проектам А. Д. Крячкова было построено 18 зданий. В том числе, помимо названных: коммерческое собрание (ныне театр «Красный факел»); часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая (снесена в 1930 г., восстановлена в 1993-м по авторскому проекту П. А. Чернобровцева); торговый корпус Богородско-Глуховской мануфактуры (ныне Главпочтамт); Дом инвалидов Сибири (впоследствии Дом офицеров).

**Снос часовни  
во имя Святителя  
и Чудотворца Николая  
на Красном проспекте.  
29 января 1930 г.**





**Здание Дома инвалидов (Дом офицеров). Начало 1930-х гг.**

Все они стали несомненным украшением улиц города и признаны объектами культурного наследия. Но вот что интересно — абсолютное большинство этих зданий впоследствии было либо надстроено, либо искажено пристройками. Впрочем, можно вспомнить один из проектов генплана города советского периода, предполагавший снос Городского торгового корпуса и замену его на здание более «современной» архитектуры. Сам Андрей Дмитриевич относился к этому неприязненно и не принимал участия в этих перестройках. Видимо, поэтому в Сибирской советской энциклопедии 1929 г. архитектор «заслужил» следующие строки: «Строительная деятельность К. делится на два периода: ранний — увлечение формами модерн и позднейший — попытки разработки конструктивного стиля. Принадлежит к старой архитектурной школе, недостаточно откликающейся на требования современности».



**А. Д. Крячков читает лекцию студентам Томского политехнического института. 1930-е гг.**



В 1915—1916 гг., несмотря на громадную занятость, А. Д. Крячков не оставляет исследовательскую деятельность. Сохранились рекомендательные письма попечителя Западно-Сибирского учебного округа и директора Томского технологического института к губернаторам различных регионов Сибири следующего содержания: «Архитектор Западно-Сибирского учебного округа гражданский инженер А. Д. Крячков отправляется... для обследования памятников старины в городах Западной Сибири... Покорнейше прошу не отказать в просвещенном содействии к допущению г. Крячкова к работам по специальности».

Итогом научной деятельности А. Д. Крячкова в области исследования сибирской старины стал ряд трудов и докладов на ученых форумах. В декабре 1920 г. он был утвержден в звании профессора Томского политехнического института.

В 20-х гг. прошлого века центр политической и административной власти в Западной Сибири перемещается из Томска в Новониколаевск, что требует строительства значительного количества общественных и жилых зданий. В числе других к проектированию и строительству привлекается и профессор А. Д. Крячков.

С 1924 по 1928 г. Андрей Дмитриевич работал в строительной комиссии Сибревкома, а с 1930 по 1936-й — в Сибкрайисполкоме, совмещая эту работу с преподавательской деятельностью в Томском политехническом институте, а затем в Сибирском строительном институте в Новосибирске.

За годы работы в Новосибирске Крячковым спроектировано немало зданий, украсивших город, в том числе: Сибдальгосторг (в настоящее время — Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки), Сибревком (ныне — художественный музей), Стоквартирный дом работников крайисполкома (совместно с В. С. Масленниковым).

В 1931 г. А. Д. Крячков стал штатным профессором кафедры архитектуры Сибстрина. В 1935 г. он был назначен деканом архитектурного факультета. В этом вузе профессор Крячков проработал до конца своей жизни, воспитав сотни специалистов.

Когда листаешь потрепанные страницы рукописных документов, хранящихся в личном деле А. Д. Крячкова, сразу бросается в глаза обилие командировочных удостоверений. Андрей Дмитриевич то едет в Москву или Ленинград по вопросам научной деятельности, то консультирует строителей Кузбасса, то выезжает для организации практики студентов. А вот, без преувеличения, документ эпохи: «Командировочное удостоверение. Предъявитель сего, профессор Новосибирского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева тов. Крячков Андрей Дмитриевич, командировается в гг. Москва и Ленинград для покупки ватманской бумаги на контингент учащихся (800 чел.). Просьба ко всем торговым организациям оказать содействие в силу того, что на рынках г. Новосибирска данная бумага совершенно отсутствует».

В личном деле также хранится копия телеграммы, посланной в 1937 г. наркому оборонной промышленности Гужимовичу заместителем председателя Сибкрайисполкома Шварцем. Крайисполком категорически возражает против перевода Крячкова в Киевский строительный институт, называя Андрея Дмитриевича «старейшим работником архитектурного фронта Сибири, крупным





Эскизный проект здания Сибкрайсоюза, выполненный А. Д. Крячковым. 1920-е гг.



Строительство здания Сибкрайсоюза. На заднем плане — здание Госучреждений («Сибирское подворье»). 4 июля 1925 г.

А. Д. Крячков (крайний справа) на крыше строящегося здания Сибкрайсоюза. 1925—1926 гг.



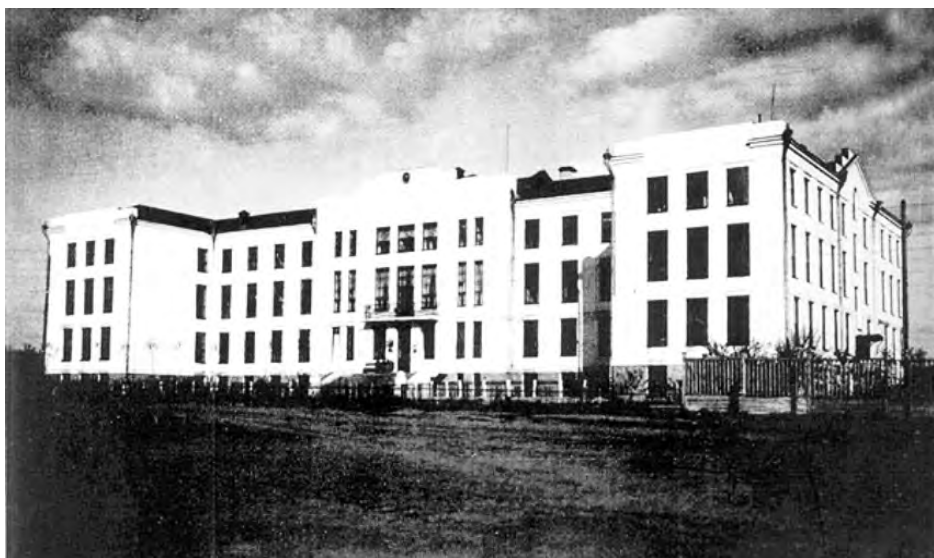
специалистом, прекрасно знакомым со специфическими условиями сибирского строительства».

Значительное место в деле занимает переписка вуза и самого Андрея Дмитриевича с различными инстанциями по поводу защиты им докторской диссертации по архитектуре. История начинается в 1936 г., когда профессор представил «рукопись на 290 страницах... со 160 иллюстрациями “Бани и купальни”... в связи с выдвижением Советом института моей кандидатуры на степень доктора архитектуры».

Завязывается долгая переписка с Москвой, которая требует новые и новые документы. Ученый собирает всевозможные выписки, рекомендации и характеристики. Чрезвычайно любопытна одна из них, черновик которой был написан, видимо, самим А. Д. Крячковым. В ней профессор кратко описывает свой жизненный путь, весьма скромно и без украшательства говорит о своих заслугах. Так, когда он упоминает о полученном им дипломе Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1937 г., то использует формулировку «за архитектурные проекты и научные работы». Сравните это с распространенным ныне мнением, что диплом был вручен только за проект Стоквартирного дома.

После многолетней бумажной волокиты Высшая аттестационная комиссия в порядке исключения разрешила А. Д. Крячкову защищать диссертацию на ученую степень доктора наук. Защита состоялась 1 февраля 1942 г. на объединенном ученом совете Московского и Новосибирского инженерно-строительных институтов, а 3 октября 1942-го ВАК присудила профессору А. Д. Крячкову ученую степень доктора технических наук. Почему академические власти не захотели видеть в лице А. Д. Крячкова доктора архитектуры — до сих пор непонятно.

Скончался А. Д. Крячков в августе 1950 г. в Сочи, где и был похоронен.



Здание Сельхозтехникума. 1930-е гг.

**А. Д. Крячков  
с супругой  
Любовью Владимировной.  
1940-е гг.**



Документы способны рассказать о человеке многое, но, конечно, не все. Поэтому сотрудники Музея города Новосибирска были очень рады возможности побеседовать об Андрее Дмитриевиче с его внучкой, Аматой Евгеньевной Стребковой. Вот некоторые фрагменты ее воспоминаний.

В 1933 г. бабушка и дедушка, мама и я переехали в Новосибирск. Мне было всего два года. Переехали мы в профессорский корпус № 6 Сибстрина. Помню только базар рядом с корпусом, потому что мы с мамой очень часто туда ходили. Еще помню сквер рядом, который сейчас уничтожили.

Квартира была большая — пять комнат.

Мы всегда праздновали Новый год, даже в 30-х гг. у нас дома всегда стояла елка и даже в войну. Мы с бабушкой сами делали свечи и игрушки.

Семья наша была по-светски верующая.

Говоря о человеческих качествах Крячкова, Амата Евгеньевна в первую очередь упоминает доброту и порядочность деда, его умение ценить дружбу.

Он всегда помогал людям, которые попали в беду. Был такой человек — Потапов Алексей Фёдорович, его арестовали. Он был строителем в Новосибирске. У него остались жена и двое детей, дедушка помогал им.

Дедушка и бабушка любили общество. Если Новый год мы встречали своей семьей, то на старый Новый год приходили друзья. Сразу же бабушка варила бочку пива, дедушка очень любил этот напиток, но только именно домашний. Бабушка разливала это пиво по бутылкам и ставила в зимний холодильник под окном. Иногда эти бутылки взрывались.

Но работа, профессиональная деятельность составляли главное содержание его жизни.

Дедушка постоянно был занят работой либо находился в командировке. Иногда дедушка брал меня с собой на отдых в Речкуновку.

Когда я смотрела книги, которые были изданы в Томске, — была поражена, как дед был занят! Какие-то выставки, какие-то постоянные командировки, конкурсы, лекции... и везде был дед.

Бабушка была очень добрым и терпеливым человеком. Они с дедушкой один раз очень сильно поссорились, и она уехала вместе со мной под Псков в г. Сольцы. Бабушка работала в санатории регистратором. Дедушка приезжал в командировку в Москву или Ленинград, и мы сразу ехали к нему. Летом дедушка сам приезжал к нам в гости.



У мамы было два брата. Дядя Всеволод жил и в Иркутске, и в Ачинске, и в Москве, и в Германии. Он был военным строителем. Второй брат, Андрей Андреевич, сидел в тюрьме. Потом его отправили в ссылку, в Норильск.

А. Д. Крячкову выпало жить в трудный период нашей истории. Его талант и знания были востребованы как до революции, так и после, и в этом смысле судьба была к нему благосклонна. Но тяжелые испытания выпали и ему.

Всегда задают вопросы: почему не арестовали дедушку? Как бабушка мне говорила, дома всегда были собраны чемоданы. Судьба так сложилась, что ему повезло. Но арестовали его сына. Андрей жил без права переписки. Его арестовали в начале 30-х гг., а дедушка его увидел только в 1950 г. Они увиделись последний раз, дедушка вскоре умер.

Потом дядя Андрей жил на Алтае в племхозе, потому что ему не разрешали устроиться в городе. После смерти Сталина его реабилитировали, он работал в Белокурихе начальником строительства.

Дедушка заболел сахарным диабетом в 1937 г., может, сказались эти страшные годы.

О смерти дедушки я узнала, когда приехала из Ленинграда. Дедушка с бабушкой отдыхали в Сочи, и были уже куплены билеты домой. Бабушка похоронила дедушку в цинковом гробу, надеясь на перевоз тела. Но ни институт, ни город не поспособствовали этому, не проявили никакого интереса.

...Из своих работ дедушка очень любил здание Сибревкома. И сейчас я думаю, он очень обрадовался бы, что около Стоквартирного дома сделали сквер. По проекту сквер всегда должен был там быть.

Дедушке было очень больно, когда реконструировали здания, например академию. Он никогда не участвовал в этом процессе.

Творчество архитектора живет века, и не надо идти в библиотеку или художественную галерею, чтобы познакомиться с ним. Это очень большая ответственность, что Андрей Дмитриевич, конечно, хорошо понимал. Первым из новосибирских зданий зодчего уже более ста лет. И проверку временем они выдержали, ибо до сих пор — без преувеличения — украшают центральную часть города.

*Автор благодарит А. Л. Пешкова за предоставленные материалы. Также при подготовке публикации использованы материалы книги С. Н. Баландина «Сибирский архитектор А. Д. Крячков» и данные Центра устной истории при Музее города Новосибирска.*



Светлана ГОЛИКОВА

## ЛИНОГРАВЮРЫ КОНСТАНТИНА БАРАНОВА

*Константин Яковлевич Баранов (1910—1985) — график. Учился в Иркутских государственных художественных мастерских у И. Л. Копылова, Я. Н. Николаева (1928—1930). Член Ассоциации художников революции (с 1931), Российской ассоциации пролетарских художников (с 1932), Союза художников СССР (с 1933). Сотрудничал в качестве художника в новосибирских журналах «Товарищ», «Сибирские огни», «Охотник и рыбак Сибири». В 1947—1956 гг. — главный художник Казахского государственного издательства (Алма-Ата). Участник II Западносибирской краевой художественной выставки в Новосибирске (1934); выставок советской цветной гравюры и гравюры художников районной печати в Москве (1937); Всесоюзной художественной выставки «Индустрия социализма» в Москве (1939); многочисленных выставок произведений художников Казахстана и Средней Азии в Алма-Ате, Ташкенте, Чимкенте, Караганде (с 1948). Персональные выставки К. Я. Баранова состоялись в Алма-Ате (1960, 1970), Караганде (1963).*

Константин Яковлевич Баранов по праву может быть назван одним из самых талантливых графиков, работавших в Сибири в 1930-х гг. Произведения этого автора не только привлекают внимание к его неординарной творческой личности, но и отражают характерные черты региональной художественной культуры эпохи, позволяют представить стилистические возможности линогравюры — одной из наиболее популярных гравировальных техник указанного времени.

Лишь одно десятилетие долгой творческой жизни К. Я. Баранова связано с Новосибирском. Он приехал сюда в 1930 г., завершив занятия в художественной студии И. Л. Копылова в Иркутске. Оказавшись в активной профессиональ-

ной среде тогдашнего Новосибирска, молодой художник получил возможность развивать свое дарование в станковой, книжной и журнальной графике, участвовать в значительных выставках. Годы, проведенные в нашем городе, стали временем становления и совершенствования его мастерства в искусстве линогравюры, способной воспроизводить напряженные контрасты темного и светлого, показывать мелкие детали или, напротив, подчеркивать выразительность обобщенных силуэтных форм. Испытав влияние выдающихся графиков первой половины XX века В. А. Фаворского, А. И. Кравченко, П. Н. Староносова, К. Я. Баранов стремительно осваивает художественный язык гравюры на линолеуме и достига-

ет в своих произведениях виртуозности энергичных линий, увлекательной зрелищности, взволнованной эмоциональности образов. «Веселая энергия, с какой К. Баранов резал гравюру, видна в характере каждого штриха», — замечает искусствовед П. Д. Муратов, размышляя о свойствах гравировального почерка художника, о его тяготении к подробнейшей проработке всего пространства листа, к пластической красоте рисунка.

В работах К. Я. Баранова нашли яркое воплощение две магистральные темы сибирского искусства 1930-х гг. — этнографическая и индустриальная. Интерес к культуре коренных народов края, возникший у художника еще в иркутской студии, зрело и глубоко проявился в иллюстрациях к «Песням Алтая» И. Е. Ерошина и в особенности — к «Северным сказкам» М. И. Ошарова.

Одаренный писатель, этнограф и фольклорист Михаил Иванович Ошаров (1894—1937), немало лет проживший среди кочевников Енисейского Севера, вошел в историю сибирской литературы обширным собранием сказаний эвенков, кетов, долган, ненцев, записанных и обработанных им. Эти сказки публиковались в нескольких номерах журнала «Сибирские огни» в 1933 г., а в 1936-м были изданы в Новосибирске отдельной книгой.

Гравюры К. Я. Баранова, сопроваждавшие их, созвучны тому чуткому пониманию художественной образности северных преданий, которое столь ясно проявляется в записях М. И. Ошарова.

Эти листы отличаются красотой тонкого, гибкого штриха, своеобразием сложных композиций, передающих цельный, поэтический взгляд на устройство мира, присущий фольклору исконных жителей сибирского Севера. Повторяющиеся и перекликающиеся мотивы горных хребтов, подобных высоким волнам, извилистой реки и дороги, ведущей от земли к небесам, соединение в одном изображении разных пространственных и временных пластов — все эти особенности художественного языка гравюр создают ощущение изначальной и неразрывной связи человека и мироздания. За иллюстрации к «Северным сказкам» Баранов был удостоен второй премии на Всесоюзной выставке гравюр художников районной печати в 1937 г.

Еще одной работой, принесшей ему эту награду, стала линогравюра «Панорама Кузнецкого металлургического завода», посвященная, как и многие другие произведения художника, труду кузбасских шахтеров и металлургов. В таких листах свойственное эпохе представление о современной жизни выражается в насыщенных, полных движения композициях, в динамичных ракурсах, в смелом сопоставлении разномасштабных изображений.

С 1940 г. К. Я. Баранов жил в Алма-Ате. Его произведения зрелых лет обрели лаконичность и ясную простоту гравировальной манеры, а в трактовку привычных сюжетов вошли новые лирические интонации.



## АВТОРЫ НОМЕРА

**Венцимеров Семён Михайлович** (1947—2009) родился в г. Черновцы (УССР). Окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета. После окончания университета много лет работал на Новосибирском радио. Публиковал статьи, стихи и очерки в различных изданиях, в том числе в Нью-Йорке, где он жил последние годы.

**Голикова Светлана Павловна** — заместитель директора по научной работе Новосибирского государственного художественного музея.

**Гутов Александр Геннадиевич** родился в 1963 г. в Москве. Окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. Преподаватель литературы и мировой художественной культуры. Заслуженный учитель РФ, победитель конкурса «Учитель года» (1992, 2001). Публиковался в журналах «Дружба народов», «Юность», «Арион» и др. Член Московского союза литераторов. Живет в Москве.

**Иванов Всеволод Вячеславович** (1895—1963) — русский писатель. Юность прошла в Западной Сибири. С 1921 г. жил в Петрограде и Москве. Фронтовой корреспондент «Известий». Автор многих произведений художественной прозы.

**Колесник Любовь Валерьевна** родилась в 1977 г. в Москве. Окончила биологический факультет Тверского государственного университета, работает в ПАО «Электромеханика». Публиковалась в журналах «Арион», «Наш современник», «Сибирские огни», «Дальний Восток» и др. Автор четырех книг. Член Союза писателей России, Союза журналистов России. Живет в Ржеве.

**Минов Игорь Геннадьевич** родился в 1961 г. в Новосибирске. Окончил исторический факультет Новосибирского государственного педагогического института. Имеет ряд публикаций в научных сборниках, в том числе международных. В настоящее время — сотрудник Музея города Новосибирска. Живет в Новосибирске.

**Мурзин Дмитрий Владимирович** родился в 1971 г. в Кемерове. Окончил Кемеровский государственный университет (математический факультет) и Литературный институт им. А. М. Горького. Работает ответственным секретарем журнала «Огни Кузбасса». Печатался в журналах «Москва», «Октябрь», «Наш современник» и др. Автор шести книг стихов. Член Союза писателей России. Член русского ПЕН-центра. Живет в Кемерове.

**Ольков Николай Максимович** родился в 1946 г. в с. Афонькине Тюменской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в районных и областных газетах, был завотделом культуры райисполкома, предпринимателем. Автор нескольких десятков книг прозы и публицистики. Лауреат нескольких литературных премий. Живет в с. Бердюжьем Тюменской области.

**Прашкевич Геннадий Мартович** родился в 1941 г. в с. Пировском Красноярского края. Прозаик, поэт, переводчик. Автор романов «Секретный дьяк», «Носорукий», «Теория прогресса», биографических книг (серия ЖЗЛ) о Жюль Верне, Уэлсе, Брэдбери, Леме, Толкине, братьях Стругацких. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат многих отечественных и международных литературных премий. Живет в новосибирском Академгородке.



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

### ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области  
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.  
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [сибирскиеогни.рф](http://сибирскиеогни.рф)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 13.10.2016 г. Дата выхода № 11 за 2016 г. в свет 9.11.2016 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.